

КУРТ ВОННЕГУТ

БОЙНЯ №5

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Бойня №5

Курт Воннегут

Аннотация
Курт Воннегут. Бойня № 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Аннотация

Доброволец в рядах американской армии во время Второй мировой войны, попавший в плен к немцам, свидетель почти полного уничтожения Дрездена, Воннегут перенес этот опыт на страницы своего самого знаменитого романа – «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», в котором стираются грани между настоящим и прошлым, миром и войной, реальностью и фантазией, безумием и трезвостью.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Курт Воннегут
Бойня № 5

Kurt Vonnegut
SLAUGHTERHOUSE-FIVE

Публикуется с разрешения Kurt Vonnegut LLC и литературного агентства The Wylie Agency (UK) LTD.

Copyright © 1969, Kurt Vonnegut, Jr. Copyright renewed © 1997 by Kurt Vonnegut, Jr. All rights reserved

* * *

БОЙНЯ НОМЕР ПЯТЬ,
ИЛИ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ
(пляска со смертью по долгу службы)
Автор –
КУРТ ВОННЕГУТ,
американец немецкого происхождения
(четвертое поколение),
который сейчас живет в прекрасных условиях
на мысе Код
(и слишком много курит).
Очень давно
он был американским пехотинцем
(нестроевой службы)
и, попав в плен,
стал свидетелем бомбардировки
немецкого города Дрездена
(«Флоренции на Эльбе»)
и может об этом рассказать,
потому что выжил.
Этот роман
отчасти написан
в слегка телеграфически-шизофреническом стиле,
как пишут
на планете Тральфамадор,

откуда появляются
летающие блюдца.
МИР

Посвящается Мэри О’Хэйр и Герхарду Мюллеру

Ревут быки, теленок мычит.
Разбудили Христа-младенца,
Но он молчит.

1

Почти все это произошло на самом деле. Во всяком случае, про войну тут почти все правда. Одного моего знакомого и в самом деле расстреляли в Дрездене за то, что он взял чужой чайник. Другой знакомый и в самом деле грозился, что перебьет всех своих личных врагов после войны при помощи наемных убийц. И так далее. Имена я все изменил.

Я действительно ездил в Дрезден на Гуггенхеймовскую стипендию (благослови их Бог) в 1967 году. Город очень напоминал Дайтон, в штате Огайо, только больше площадей и скверов, чем в Дайтоне. Наверно, там, в земле, тонны искрошенных в труху человеческих костей.

Ездил я туда со старым однополчанином, Бернардом В. О'Хэйром, и мы подружились с таксистом, который возил нас на бойню номер пять, куда нас, военнопленных, запирали на ночь. Звали таксиста Герхард Мюллер. Он нам рассказал, что побывал в плену у американцев. Мы его спросили, как живется при коммунистах, и он сказал, что сначала было плохо, потому что

всем приходилось страшно много работать и не хватало ни еды, ни одежды, ни жилья. А теперь стало много лучше. У него уютная квартирка, дочь учится, получает отличное образование. Мать его сгорела во время бомбежки Дрездена. Такие дела.

Он послал О'Хэйру открытку к Рождеству, и в ней было написано так:

«Желаю Вам и Вашей семье, а также Вашему другу веселого Рождества и счастливого Нового года и надеюсь, что мы снова встретимся в мирном и свободном мире, в моем такси, если захочет случай».

Мне очень нравится фраза «если захочет случай».

Ужасно неохота рассказывать вам, чего мне стоила эта треклятая книжонка — сколько денег, времени, волнений. Когда я вернулся домой после Второй мировой войны, двадцать три года назад, я думал, что мне будет очень легко написать о разрушении Дрездена, потому что надо было только рассказать все, что я видал. И еще я думал, что выйдет высокохудожественное произведение или, во всяком случае, оно даст мне много денег, потому что тема такая важная.

Но я никак не мог придумать нужные слова

про Дрезден, во всяком случае, на целую книжку их не хватало. Да слова не приходят и теперь, когда я стал старым пердуном, с привычными воспоминаниями, с привычными сигаретами и взрослыми сыновьями.

И я думаю: до чего бесполезны все мои воспоминания о Дрездене и все же до чего соблазнительно было писать о Дрездене. И у меня в голове вертится старая озорная песенка:

Какой-то ученый доцент
Сердился на свой инструмент:
«Мне здоровье сорвал,
Капитал промотал,
А работать не хочешь, нахал!»

И вспоминаю я еще одну песенку:

Зовусь я Йон Йонсен,
Мой дом – штат Висконсин,
В лесу я работаю тут.
Кого ни встречаю,
Я всем отвечаю,
Кто спросит:
«А как вас зовут?»
Зовусь я Йон Йонсен,

И так далее, до бесконечности.

Все эти годы знакомые меня часто спрашивали, над чем я работаю, и я обычно отвечал, что главная моя работа — книга о Дрездене.

Так я ответил и Гаррисону Старру, кинорежиссеру, а он поднял брови и спросил:

— Книга антивоенная?

— Да, — сказал я, — похоже на то.

— А знаете, что я говорю людям, когда слышу, что они пишут антивоенные книжки?

— Не знаю. Что же вы им говорите, Гаррисон Старр?

— Я им говорю: а почему бы вам вместо этого не написать антиледниковую книжку?

Конечно, он хотел сказать, что войны всегда будут и что остановить их так же легко, как остановить ледники. Я тоже так думаю.

И если бы войны даже не надвигались на нас, как ледники, все равно осталась бы обыкновенная старушка-смерть.

Когда я был помоложе и работал над своей пресловутой дрезденской книгой, я запросил старого своего однополчанина Бернарда В. О’Хэйра, можно ли мне приехать к нему. Он был окружным

прокурором в Пенсильвании. Я был писателем на мысе Код. На войне мы были рядовыми разведчиками в пехоте. Никогда мы не надеялись на хорошие заработки после войны, но оба устроились неплохо.

Я поручил Центральной телефонной компании отыскать его. Они здорово это умеют. Иногда по ночам у меня бывают такие припадки, с алкоголем и телефонными звонками. Я напиваюсь, и жена уходит в другую комнату, потому что от меня несет горчичным газом и розами. А я, очень серьезно и элегантно, звоню по телефону и прошу телефонистку соединить меня с кем-нибудь из друзей, кого я давно потерял из виду.

Так я отыскал и О'Хэйра. Он низенький, а я высокий. На войне нас звали Пат и Паташон. Нас вместе взяли в плен. Я сказал ему по телефону, кто я такой. Он сразу поверил. Он не спал. Он читал. Все остальные в доме спали.

— Слушай, — сказал я. — Я пишу книжку про Дрезден. Ты бы помог мне кое-что вспомнить. Нельзя ли мне приехать к тебе, повидаться, мы бы выпили, поговорили, вспомнили прошлое.

Энтузиазма он не проявил. Сказал, что помнит очень мало. Но все же сказал: приезжай.

— Знаешь, я думаю, что развязкой в книге

должен быть расстрел этого несчастного Эдгара Дарби, — сказал я. — Подумай, какая ирония. Целый город горит, тысячи людей гибнут. А потом этого самого солдата-американца арестовывают среди развалин немцы за то, что он взял чайник. И судят по всей форме и расстреливают.

— Гм-мм, — сказал О'Хэйр.

— Ты согласен, что это должно стать развязкой?

— Ничего я в этом не понимаю, — сказал он, — это твоя специальность, а не моя.

Как специалист по развязкам, завязкам, характеристикам, изумительным диалогам, напряженнейшим сценам и столкновениям, я много раз набрасывал план книги о Дрездене. Лучший план, или, во всяком случае, самый красивый план, я набросал на куске обоев.

Я взял цветные карандаши у дочки и каждому герою придал свой цвет. На одном конце куска обоев было начало, на другом — конец, а в середине была середина книги. Красная линия встречалась с синей, а потом — с желтой, и желтая линия обрывалась, потому что герой, изображенный желтой линией, умирал. И так далее. Разрушение Дрездена изображалось вертикальным столбцом оранжевых крестиков, и

все линии, оставшиеся в живых, проходили через этот переплет и выходили с другого конца.

Конец, где все линии обрывались, был в свекловичном поле на Эльбе, за городом Галле. Лил дождь. Война в Европе окончилась несколько недель назад. Нас построили в шеренги, и русские солдаты охраняли нас: англичан, американцев, голландцев, бельгийцев, французов, новозеландцев, австралийцев — тысячи бывших военнопленных.

А на другом конце поля стояли тысячи русских, и поляков, и югославов, и так далее, и их охраняли американские солдаты. И там, под дождем, шел обмен — одного на одного. О'Хэйр и я залезли в американский грузовик с другими солдатами. У О'Хэйра сувениров не было. А почти у всех других были. У меня была — и до сих пор есть — парадная сабля немецкого летчика. Отчаянный американец, которого я назвал в этой книжке Поль Лаззаро, вез около кварты алмазов, изумрудов, рубинов и всякого такого. Он их снимал с мертвецов в подвалах Дрездена. Такие дела.

Дурак англичанин, потерявший где-то все зубы, вез свой сувенир в парусиновом мешке. Мешок лежал на моих ногах. Англичанин то и дело заглядывал в мешок, и вращал глазами, и крутил шеей,

старяясь привлечь жадные взоры окружающих. И все время стукал меня мешком по ногам.

Я думал, это случайно. Но я ошибался. Ему ужасно хотелось кому-нибудь показать, что у него в мешке, и он решил довериться мне. Он перехватил мой взгляд, подмигнул и открыл мешок. Там была гипсовая модель Эйфелевой башни. Она вся была вызолочена. В нее были вделаны часы.

— Видал красоту? — сказал он.

И нас отправили на самолетах в летний лагерь во Франции, где нас поили молочными коктейлями с шоколадом и кормили всякими деликатесами, пока мы не покрылись молодым жирком. Потом нас отправили домой, и я женился на хорошенькой девушке, тоже покрытой молодым жирком.

И мы завели ребят.

А теперь все они выросли, а я стал старым пердуном с привычными воспоминаниями, привычными сигаретами. Зовусь я Йон Йонсен, мой дом — штат Висконсин. В лесу я работаю тут.

Иногда поздно ночью, когда жена уходит спать, я пытаюсь позвонить по телефону старым своим приятельницам.

— Прошу вас, барышня, не можете ли вы дать мне номер телефона миссис такой-то, кажется,

она живет там-то.

— Простите, сэр. Такой абонент у нас не значится.

— Спасибо, барышня. Большое вам спасибо.

И я выпускаю нашего пса погулять, и я впускаю его обратно, и мы с ним говорим по душам. Я ему показываю, как я его люблю, а он мне показывает, как он любит меня. Ему не противен запах горчичного газа и роз.

— Хороший ты малый, Сэнди, — говорю я ему. — Чувствуешь? Ты молодчага, Сэнди.

Иногда я включаю радио и слушаю беседу из Бостона или Нью-Йорка. Не выношу музыкальных записей, когда выпью как следует.

Рано или поздно я ложусь спать, и жена спрашивает меня, который час. Ей всегда надо знать время. Иногда я не знаю, который час, и говорю:

— Кто его знает…

Иногда я раздумываю о своем образовании. После Второй мировой войны я некоторое время учился в Чикагском университете. Я был студентом факультета антропологии. В то время нас учили, что абсолютно никакой разницы между людьми нет. Может быть, там до сих пор этому учат.

И еще нас учили, что нет людей смешных, или

противных, или злых. Незадолго перед смертью мой отец мне сказал:

— Знаешь, у тебя ни в одном рассказе нет злодеев.

Я ему сказал, что этому, как и многому другому, меня учили в университете после войны.

Пока я учился на антрополога, я работал полицейским репортером в знаменитом Бюро городских происшествий в Чикаго за двадцать восемь долларов в неделю. Как-то меня перекинули из ночной смены в дневную, так что я работал шестнадцать часов подряд. Нас финансировали все городские газеты и АП, и ЮП[1], и все такое. И мы давали сведения о процессах, о происшествиях, о полицейских участках, о пожарах, о службе спасения на озере Мичиган, и все такое. Мы были связаны со всеми финансировавшими нас учреждениями путем пневматических труб, проложенных под улицами Чикаго.

Репортеры передавали по телефону сведения журналистам, а те, слушая в наушники, отпечатывали отчеты о происшествиях на восковках, размножали на ротаторе, вкладывали оттиски в медные с бархатной прокладкой патроны, и

---

[1] Сноски: 1

АП — Ассошиэйтед Пресс; ЮП — Юнайтед Пресс. — *Примеч. пер.*

пневматические трубы глотали эти патроны. Самыми прожженными репортерами и журналистами были женщины, занявшие места мужчин, ушедших на войну.

И первое же происшествие, о котором я дал отчет, мне пришлось продиктовать по телефону одной из этих чертовых девок. Дело шло о молодом ветеране войны, которого устроили лифтером на лифт устаревшего образца в одной из контор. Двери лифта на первом этаже были сделаны в виде чугунной кружевной решетки. Чугунный плющ вился и переплетался. Там была и чугунная ветка с двумя целующимися голубками.

Ветеран собирался спустить свой лифт в подвал, и он закрыл двери и стал было спускаться, но его обручальное кольцо зацепилось за одно из украшений. И его подняло на воздух, и пол лифта ушел у него из-под ног, а потолок лифта раздавил его. Такие дела.

Я все это передал по телефону, и женщина, которая должна была написать все это, спросила меня:

— А жена его что сказала?

— Она еще ничего не знает, — сказал я. — Это только что случилось.

— Позвоните ей и возьмите у нее интервью.

— Что-о-о?

— Скажите, что вы капитан Финн из полицейского управления. Скажите, что у вас есть печальная новость. И расскажите ей все, и выслушайте, что она скажет.

Так я и сделал. Она сказала все, что можно было ожидать. Что у них ребенок. Ну и вообще…

Когда я приехал в контору, эта журналистка спросила меня (просто из бабьего любопытства), как выглядел этот раздавленный человек, когда его расплющило.

Я ей рассказал.

— А вам было неприятно? — спросила она. Она жевала шоколадную конфету «Три мушкетера».

— Что вы, Нэнси, — сказал я. — На войне я видал кой-чего и похуже.

Я уже тогда обдумывал книгу про Дрезден. Тогдашним американцам эта бомбежка вовсе не казалась чем-то выдающимся. В Америке немногие знали, насколько это было страшнее, чем, например, Хиросима. Я и сам не знал. О дрезденской бомбежке мало что просочилось в печать.

Случайно я рассказал одному профессору Чикагского университета — мы встретились на коктейле — о налете, который мне пришлось

видеть, и о книге, которую я собираюсь написать. Он был членом так называемого Комитета по изучению социальной мысли. И он стал мне рассказывать про концлагеря и про то, как фашисты делали мыло и свечи из жира убитых евреев и всякое другое.

Я мог только повторять одно и то же:

— Знаю. Знаю. *Знаю.*

Конечно, Вторая мировая война всех очень ожесточила. А я стал заведующим отделом внешних связей при компании «Дженерал электрик», в Шенектеди, штат Нью-Йорк, и добровольцем пожарной дружины в поселке Альплос, где я купил свой первый дом. Мой начальник был одним из самых крутых людей, каких я встречал. Надеюсь, что никогда больше не столкнусь с таким крутым человеком, как бывший мой начальник. Он был раньше подполковником, служил в отделе связи компании в Балтиморе. Когда я служил в Шенектеди, он примкнул к голландской реформистской церкви, а церковь эта тоже довольно крутая.

Часто он с издевкой спрашивал меня, почему я не дослужился до офицерского чина. Как будто я сделал что-то скверное.

Мы с женой давно спустили наш молодой жирок. Пошли наши тощие годы. И дружили мы

с тощими ветеранами войны и с их тощенькими женами. По-моему, самые симпатичные из ветеранов, самые добрые, самые занятные и ненавидящие войну больше всех — это те, кто сражался по-настоящему.

Тогда я написал в управление военно-воздушных сил, чтобы выяснить подробности налета на Дрезден: кто приказал бомбить город, сколько было послано самолетов, зачем нужен был налет и что этим выиграли. Мне ответил человек, который, как и я, занимался внешними связями. Он писал, что очень сожалеет, но все сведения до сих пор совершенно секретны.

Я прочел письмо вслух своей жене и сказал:

— Господи ты Боже мой, совершенно секретны — да от кого же?

Тогда мы считали себя членами Мировой федерации. Не знаю, кто мы теперь. Наверно, телефонщики. Мы ужасно много звоним по телефону — во всяком случае, я, особенно по ночам.

Через несколько недель после телефонного разговора с моим старым дружком-однополчанином Бернардом В. О'Хэйром я действительно съездил к нему в гости. Было это году в 1964-м или около того — в общем, в последний год Международной выставки в Нью-Йорке. Увы, проходят быстро-

течные годы. Зовусь я Йон Йонсен… Какой-то ученый доцент…

Я взял с собой двух девчурок, мою дочку Нанни и ее лучшую подружку Элисон Митчелл. Они никогда не выезжали с мыса Код. Когда мы увидели реку, пришлось остановить машину, чтобы они постояли, поглядели, подумали. Никогда в жизни они еще не видели воду в таком длинном, узком и несоленом виде. Река называлась Гудзон. Там плавали карпы, и мы их видели. Они были огромные, как атомные подводные лодки.

Видели мы и водопады, потоки, скачущие со скал в долину Делавара. Много чего надо было посмотреть, и я останавливал машину. И всегда пора было ехать, всегда — пора ехать. На девчурках были нарядные белые платья и нарядные черные туфли, чтобы все встречные видели, какие это хорошие девочки.

— Пора ехать, девочки, — говорил я. И мы уезжали.

И солнце зашло, и мы поужинали в итальянском ресторанчике, а потом я постучал в двери красного каменного дома Бернарда В. О’Хэйра. Я держал бутылку ирландского виски, как колокольчик, которым созывают к обеду.

Я познакомился с его милейшей женой, Мэри,

которой я посвящаю эту книгу. Еще я посвящаю книгу Герхарду Мюллеру, дрезденскому таксисту. Мэри О'Хэйр — медицинская сестра, чудесное занятие для женщины.

Мэри полюбовалась двумя девчушками, которых я привез, познакомила их со своими детьми и всех отправила наверх — играть и смотреть телевизор. И только когда все дети ушли, я почувствовал: то ли я не нравлюсь Мэри, то ли ей *что-то* в этом вечере не нравится. Она держалась вежливо, но холодно.

— Славный у вас дом, уютный, — сказал я, и это была правда.

— Я вам отвела место, где вы сможете поговорить, там вам никто не помешает, — сказала она.

— Отлично, — сказал я и представил себе два глубоких кожаных кресла у камина в кабинете с деревянными панелями, где два старых солдата смогут выпить и поговорить. Но она привела нас на кухню. Она поставила два жестких деревянных стула у кухонного стола с белой фаянсовой крышкой. Свет двухсотсвечовой лампы над головой, отражаясь в этой крышке, дико резал глаза. Мэри приготовила нам операционную. Она поставила на стол один-единственный стакан для

меня. Она объяснила, что ее муж после войны не переносит спиртных напитков.

Мы сели за стол. О'Хэйр был смущен, но объяснять мне, в чем дело, он не стал. Я не мог себе представить, чем я мог так рассердить Мэри. Я был человек семейный. Женат был только раз. И алкоголиком не был. И ничего плохого ее мужу во время войны не сделал.

Она налила себе кока-колы и с грохотом высыпала лед из морозилки над раковиной нержавеющей стали. Потом она ушла в другую половину дома. Но и там она не сидела спокойно. Она металась по всему дому, хлопала дверьми, даже двигала мебель, чтобы на чем-то сорвать злость.

Я спросил О'Хэйра, что я такого сделал или сказал, чем я ее обидел.

— Ничего, ничего, — сказал он. — Не беспокойся. Ты тут ни при чем.

Это было очень мило с его стороны. Но он врал. Я тут был очень при чем.

Мы попытались не обращать внимания на Мэри и вспомнить войну. Я отпил немножко из бутылки, которую принес. И мы посмеивались, улыбались, как будто нам что-то припомнилось, но ни он, ни я ничего стоящего вспомнить не могли. О'Хэйр вдруг вспомнил одного малого,

который напал на винный склад в Дрездене до бомбежки, и нам пришлось отвозить его домой на тачке. Из этого книжку не сделаешь. Я вспомнил двух русских солдат. Они везли полную телегу будильников. Они были веселы и довольны. Они курили огромные самокрутки, свернутые из газеты.

Вот примерно все, что мы вспомнили, а Мэри все еще шумела. Потом она пришла на кухню налить себе кока-колы. Она выхватила еще одну морозилку из холодильника и грохнула лед в раковину, хотя льда было предостаточно.

Потом повернулась ко мне, чтобы я видел, как она сердится и что сердится она на меня. Очевидно, она все время разговаривала сама с собой, и фраза, которую она сказала, прозвучала как отрывок длинного разговора.

— Да вы же были тогда совсем *детьми*! — сказала она.

— Что? — переспросил я.

— Вы были на войне просто детьми, как наши ребята наверху.

Я кивнул головой — ее правда. Мы были на войне *девами неразумными*, едва расставшимися с детством.

— Но вы же так не напишете, верно? — сказала

она. Это был не вопрос — это было обвинение.

— Я… я сам не знаю, — сказал я.

— Зато я знаю, — сказала она. — Вы притворитесь, что вы были вовсе не детьми, а настоящими мужчинами, и вас в кино будут играть всякие Фрэнки Синатры и Джоны Уэйны или еще какие-нибудь знаменитости, скверные старики, которые обожают войну. И война будет показана красиво, и пойдут войны одна за другой. А драться будут дети, вон как те наши дети наверху.

И тут я все понял. Вот отчего она так рассердилась. Она не хотела, чтобы на войне убивали ее детей, чьих угодно детей. И она думала, что книжки и кино тоже подстрекают к войнам.

И тут я поднял правую руку и дал ей торжественное обещание.

— Мэри, — сказал я, — боюсь, что эту свою книгу я никогда не кончу. Я уже написал тысяч пять страниц и все выбросил. Но если я когда-нибудь эту книгу кончу, то даю вам честное слово, что никакой роли ни для Фрэнка Синатры, ни для Джона Уэйна в ней не будет. И знаете что, — добавил я, — я назову книгу «Крестовый поход детей».

После этого она стала моим другом.

Мы с О'Хэйром бросили вспоминать, перешли в гостиную и заговорили про всякое другое. Нам

захотелось подробнее узнать о настоящем крестовом походе детей, и О'Хэйр достал книжку из своей библиотеки под названием «Удивительные заблуждения народов и безумства толпы», написанную Чарльзом Макэем, доктором философических наук, и изданную в Лондоне в 1841 году.

Макэй был неважного мнения обо всех крестовых походах. Крестовый поход детей казался ему только немного мрачнее, чем десять крестовых походов взрослых. О'Хэйр прочел вслух этот прекрасный отрывок:

Историки сообщают нам, что крестоносцы были людьми дикими и невежественными, что вело их неприкрытое ханжество и что путь их был залит слезами и кровью. Но романисты, с другой стороны, приписывают им благочестие и героизм и в самых пламенных красках рисуют их добродетели, их великодушие, вечную славу, каковую они заслужили, возданную им по заслугам, и неизмеримые благодеяния, оказанные ими делу христианства.

А дальше О'Хэйр прочел вот что:

Но каковы же были истинные результаты всех этих битв? Европа растратила миллионы своих

сокровищ и пролила кровь двух миллионов своих сынов, а за это кучка драчливых рыцарей овладела Палестиной лет на сто.

Макэй рассказывает нам, что крестовый поход детей начался в 1213 году, когда у двух монахов зародилась мысль собрать армии детей во Франции и Германии и продать их в рабство на севере Африки. Тридцать тысяч детей вызвалось отправиться, как они думали, в Палестину.

«Должно быть, это были дети без призора, без дела, какими кишат большие города, — пишет Макэй, — дети, выпестованные пороками и дерзостью и готовые на всё».

Папа Иннокентий III тоже считал, что дети отправляются в Палестину, и пришел в восторг. «Дети бдят, пока мы дремлем!» — воскликнул он.

Большая часть детей была отправлена на кораблях из Марселя, и примерно половина погибла при кораблекрушениях. Остальных высадили в Северной Африке, где их продали в рабство.

По какому-то недоразумению часть детей сочли местом отправки Геную, где их не подстерегали корабли рабовладельцев. Их приютили, накормили, расспросили добрые люди и, дав им немножко денег и много советов, отправили восвояси.

В эту ночь меня уложили спать в одной из

детских. О'Хэйр положил мне на ночной столик книжку. Называлась она «Дрезден. История, театры и галерея», автор Мэри Энделл. Книга вышла в 1908 году, и предисловие начиналось так:

Надеемся, что эта небольшая книга принесет пользу. В ней сделана попытка дать читающей английской публике обзор Дрездена с птичьего полета, объяснить, как город обрел свой архитектурный облик, как он развивался в музыкальном отношении благодаря гению нескольких человек, а также обратить взор читателя на те бессмертные явления в искусстве, которые привлекают к Дрезденской галерее внимание тех, кто ищет неизгладимых впечатлений.

Я еще немножко почитал историю города:

В 1760 году Дрезден был осажден пруссаками. Пятнадцатого июля началась канонада. Картинную галерею охватил огонь. Многие картины были перенесены в Кенигсштейн, но некоторые сильно пострадали от осколков снарядов — особенно «Крещение Христа» кисти Франсиа. Вслед за тем величественная башня Крестовой церкви, с которой день и ночь следили за передвижением противника, была охвачена пламенем. В противовес печальной судьбе Крестовой церкви

церковь Пресвятой Девы осталась нетронутой, и от каменного ее купола прусские снаряды отлетали, как дождевые капли. Наконец Фридриху пришлось снять осаду, так как он узнал о падении Глаца, средоточия его недавних завоеваний. «Нам должно отступить в Силезию, дабы не потерять все», — сказал он.

Разрушения в Дрездене были неисчислимы. Когда Гете, юным студентом, посетил город, он все еще застал унылые руины: «С купола церкви Пресвятой Девы я увидал сии горькие останки, рассеянные среди превосходной планировки города; и тут церковный служка стал похваляться передо мной искусством зодчего, который в предвидении столь нежеланных случайностей укрепил церковь и купол ее против снарядного огня. Добрый служитель указал мне затем на руины, видневшиеся повсюду, и сказал раздумчиво и кратко: «Дело рук врага».

На следующее утро мы с девчурками пересекли реку Делавар, там, где ее пересекал Джордж Вашингтон. Мы поехали на Международную выставку в Нью-Йорке, поглядели на прошлое с точки зрения автомобильной компании Форда и Уолта Диснея и на будущее с точки зрения компании «Дженерал моторс».

А я спросил себя о настоящем: какой оно ширины, какой глубины, сколько мне из него достанется?

В течение двух следующих лет я вел творческий семинар в знаменитом кабинете писателя при университете штата Айова. Я попал в невероятнейший переплет, потом выбрался из него. Преподавал я во вторую половину дня. По утрам я писал. Мешать мне не разрешалось. Я работал над моей знаменитой книгой о Дрездене.

А где-то там милейший человек по имени Симор Лоуренс заключил со мной договор на три книги, и я ему сказал:

— Ладно, первой из трех будет моя знаменитая книга про Дрезден.

Друзья Симора Лоуренса зовут его «Сэм», и теперь я говорю Сэму:

— Сэм, вот она, эта книга.

Книга такая короткая, такая путаная, Сэм, потому что ничего вразумительного про бойню написать нельзя. Всем положено умереть, навеки замолчать и уже никогда ничего не хотеть. После бойни должна наступить полнейшая тишина, да и вправду все затихает, кроме птиц.

А что скажут птицы? Одно они только и могут

сказать о бойне: «Пьюти-фьют?»

Я сказал своим сыновьям, чтобы они ни в коем случае не принимали участия в бойнях и чтобы, услышав об избиении врагов, они не испытывали бы ни радости, ни удовлетворения.

И еще я им сказал, чтобы они не работали на те компании, которые производят механизмы для массовых убийств, и с презрением относились бы к людям, считающим, что такие механизмы нам необходимы.

Как я уже сказал, я недавно ездил в Дрезден со своим другом О'Хэйром. Мы ужасно много смеялись и в Гамбурге, и в Берлине, и в Вене, и в Зальцбурге, и в Хельсинки, и в Ленинграде тоже. Мне это очень пошло на пользу, потому что я увидал настоящую обстановку для тех выдуманных историй, которые я когда-нибудь напишу. Одна будет называться «Русское барокко», другая — «Целоваться воспрещается» и еще одна — «Долларовый бар», а еще одна — «Если захочет случай» и так далее.

Да, и так далее.

Самолет «Люфтганзы» должен был вылететь из Филадельфии, через Бостон, во Франкфурт. О'Хэйр должен был сесть в Филадельфии, а я в

Бостоне, и — в путь! Но Бостон был залит дождем, и самолет прямо из Филадельфии улетел во Франкфурт. И я стал непассажиром в бостонском тумане, и «Люфтганза» посадила меня в автобус с другими непассажирами и отправила нас в отель на неночевку.

Время остановилось. Кто-то шалил с часами, и не только с электрическими часами, но и с будильниками. Минутная стрелка на моих часах прыгала — и проходил год, и потом она прыгала снова.

Я ничего не мог поделать. Как землянин, я должен был верить часам — и календарям тоже.

У меня были с собой две книжки, я их собирался читать в самолете. Одна была сборник стихов Теодора Рётке «Слова на ветер», и вот что я там нашел:

Проснусь – и медлю отойти от сна.
Ищу судьбу везде, где страха нет.
Учусь идти, куда мой путь ведет.

Вторая моя книжка была написана Эрикой Островской и называлась «Селин и его видение мира». Селин был храбрым солдатом французской армии в Первой мировой войне, пока ему

не раскроили череп. После этого он страдал бессонницей, шумом в голове. Он стал врачом и в дневное время лечил бедняков, а всю ночь писал странные романы. Искусство невозможно без пляски со смертью, писал он.

«Истина — в смерти, — писал он. — Я старательно боролся со смертью, пока мог… я с ней плясал, осыпал ее цветами, кружил в вальсе… украшал лентами… щекотал ее…»

Его преследовала мысль о времени. Мисс Островская напомнила мне потрясающую сцену из романа «Смерть в кредит», где Селин пытается остановить суету уличной толпы. С его страниц несется визг: «Остановите их… не давайте им двигаться… Скорей, заморозьте их… навеки… Пусть так и стоят…»

Я поискал в Библии, на столике в мотеле, описание какого-нибудь огромного разрушения.

Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор.

И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба.

И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастения земли.

Такие дела.

В обоих городах, как известно, было много скверных людей. Без них мир стал лучше. И конечно, жене Лота не велено было оглядываться туда, где были все эти люди и их жилища. Но она оглянулась, за что я ее и люблю, потому что это было так по-человечески.

И она превратилась в соляной столб. Такие дела.

Нельзя людям оглядываться. Больше я этого делать, конечно, не стану. Теперь я кончил свою военную книгу. Следующая книга будет очень смешная.

А эта книга не удалась, потому что ее написал соляной столб.

Начинается она так:

«Послушайте:

Билли Пилигрим отключился от времени».

А кончается так:

«Пьюти-фьют?»

2

Послушайте:

Билли Пилигрим отключился от времени.

Билли лег спать пожилым вдовцом, а проснулся в день свадьбы. Он вошел в дверь в 1955 году, а вышел из другой двери в 1941-м. Потом вернулся через ту же дверь и очутился в 1963 году. Он говорит, что много раз видел и свое рождение, и свою смерть и то и дело попадал в разные другие события своей жизни между рождением и смертью.

Так говорил Билли.

Его перебрасывает во времени рывками, и он не властен над тем, куда сейчас попадет, да и не всегда это приятно. Он постоянно нервничает, как актер перед выступлением, потому что не знает, какую часть своей жизни ему сейчас придется сыграть.

Билли родился в 1922 году в Илиуме, штат Нью-Йорк, в семье парикмахера. Он был странноватым мальчиком и стал странноватым юнцом — высоким и слабым, похожим на бутылку из-под кока-колы. Он окончил илиумскую гимназию в первой десятке своего класса и проучился один

семестр на вечерних курсах оптометристов, в том же Илиуме, перед тем как его призвали на военную службу: шла Вторая мировая война. Во время этой войны отец его погиб на охоте. Такие дела.

Билли воевал в пехоте в Европе и попал в плен к немцам. После демобилизации в 1945 году Билли снова поступил на оптометрические курсы. В последнем семестре он обручился с дочкой основателя и владельца курсов, а потом заболел легким нервным расстройством.

Его поместили в военный госпиталь близ Лейк-Плэсида, лечили электрошоком и вскоре выписали. Он женился на своей нареченной, окончил курсы, и тесть устроил его у себя в деле. Илиум — особенно выгодное место для оптиков, потому что там расположена Всеобщая сталелитейная компания. Каждый служащий компании обязан иметь пару защитных очков и надевать их на производстве. В Илиуме на компанию служило шестьдесят восемь тысяч человек. Значит, нужно было изготовить массу линз и массу оправ.

Оправы — самое денежное дело.

Билли разбогател. У него было двое детей — Барбара и Роберт. Со временем Барбара вышла замуж, тоже за оптика, и Билли принял его в дело. Сын Билли, Роберт, плохо учился, но потом он по-

ступил в знаменитую воинскую часть «зеленые береты». Он выправился, стал красивым юношей и сражался во Вьетнаме.

В начале 1968 года группа оптометристов, где был и Билли, наняла специальный самолет — они летели из Илиума на международный оптометрический съезд в Монреале. Самолет разбился над горами Шугарбуш в Вермонте. Все погибли, кроме Билли. Такие дела.

Пока Билли приходил в себя в одной из вермонтских больниц, его жена скончалась от случайного отравления окисью углерода. Такие дела.

После катастрофы Билли вернулся в Илиум и вначале был очень спокоен. Через всю макушку у него шел чудовищный шрам. Практикой он больше не занимался. За ним ухаживала экономка. Дочка приезжала к нему почти каждый день.

И вдруг без всякого предупреждения Билли поехал в Нью-Йорк и выступил по вечерней программе, обычно передававшей всякие беседы. Он рассказал, как он заплутался во времени. Он также сказал, что в 1967 году его похитило летающее блюдце. Блюдце это, сказал он, прилетело с планеты Тральфамадор. И его отвезли на Тральфамадор и там показывали в голом виде посетителям зоопарка. Там его спарили с бывшей

кинозвездой, тоже с Земли, по имени Монтана Уайлдбек.

Какие-то бессонные граждане в Илиуме услышали Билли по радио, и один из них позвонил его дочери Барбаре. Барбара расстроилась. Они с мужем поехали в Нью-Йорк и привезли Билли домой. Билли мягко, но упорно настаивал, что говорил по радио чистую правду. Он сказал, что его похитили тральфамадорцы в день дочкиной свадьбы. Никто его не хватился, объяснил он, потому что тральфамадорцы провели его по такому витку времени, что он мог годами пребывать на Тральфамадоре, а на Земле отсутствовать одну микросекунду.

Прошел еще месяц, без всяких инцидентов, а потом Билли написал письмо в «Новости Илиума», и газета опубликовала это письмо. В нем описывались существа с Тральфамадора.

В письме говорилось, что они двух футов ростом, зеленые и напоминают по форме «прокачку» — ту штуку, которой водопроводчики прокачивают трубы. Присосок у них касается почвы, а чрезвычайно гибкие стержни обычно смотрят вверх. Каждый стержень кончается маленькой рукой с зеленым глазом на ладони. Существа настроены вполне дружелюбно и умеют

видеть все в четырех измерениях. Они жалеют землян, оттого что те могут видеть только в трех измерениях. Они могут рассказать землянам чудеснейшие вещи, особенно про время. Билли обещал рассказать в своем следующем письме о многих чудеснейших вещах, которым его научили тральфамадорцы.

Когда появилось первое письмо, Билли уже работал над вторым. Второе письмо начиналось так:

«Самое важное, что я узнал на Тральфамадоре, это то, что, когда человек умирает, нам это только кажется. Он все еще жив в прошлом, так что очень глупо плакать на его похоронах. Все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и всегда будут существовать. Тральфамадорцы умеют видеть разные моменты совершенно так же, как мы можем видеть всю цепь Скалистых гор. Они видят, насколько все эти моменты постоянны, и могут рассматривать тот момент, который их сейчас интересует. Только у нас, на Земле, существует иллюзия, что моменты идут один за другим, как бусы на нитке, и что если мгновение прошло, оно прошло бесповоротно.

Когда тральфамадорец видит мертвое тело, он думает, что этот человек в данный момент просто

в плохом виде, но он же вполне благополучен во многие другие моменты. Теперь, когда я слышу, что кто-то умер, я только пожимаю плечами и говорю, как сами тральфамадорцы говорят о покойниках: “Такие дела”».

* * *

И так далее.

Билли сочинял письмо в подвальном помещении своего пустого дома, где был свален всякий хлам. У экономки был выходной день. В подвале стояла старая пишущая машинка… Рухлядь, а не машинка. Она весила больше, чем котел отопления. Билли не мог ее перенести в другое место, оттого и писал в захламленном подвале, а не у себя в комнате.

Котел отопления испортился. Мышь прогрызла изоляцию на проводе термостата. Температура в доме упала до пятидесяти по Фаренгейту, но Билли ничего не замечал. И одет он был не слишком тепло. Он сидел босой, все еще в пижаме и халате, хотя дело шло к вечеру. Его босые ноги были цвета слоновой кости с просинью.

Но сердце у Билли горело радостью. Оно горело оттого, что Билли верил и надеялся принести многим людям утешение, открыв им правду о

времени. У входной двери без конца заливался звонок. Пришла его дочь Барбара. В конце концов она отперла дверь своим ключом и прошла у него над головой, крича: «Папа, папочка, где ты?» — и так далее.

Билли не откликался, и она впала в совершенную истерику, решив, что сейчас найдет его труп. И наконец заглянула в самое неожиданное место — в подвальную кладовку.

— Почему ты не отвечал, когда я звала? — спросила Барбара, стоя в дверях подвала. В руке она сжимала номер газеты, где Билли описывал своих знакомцев с Тральфамадора.

— А я тебя не слышал, — сказал Билли.

Партии в этом оркестре на данный момент были распределены так: Барбаре было всего двадцать один год, но она считала своего отца престарелым — хотя ему-то было всего сорок шесть, — престарелым, потому что ему повредило мозги во время самолетной катастрофы. И еще она считала себя главой семьи, потому что ей пришлось хлопотать на похоронах матери, а потом нанимать экономку для Билли, и все такое. А кроме того, Барбаре с мужем приходилось распоряжаться денежными делами Билли, и притом довольно значительными суммами,

так как Билли с некоторых пор совершенно наплевательски относился к деньгам. И из-за всей этой ответственности в таком юном возрасте она стала довольно противной особой. А между тем Билли старался сохранить свое достоинство, доказать Барбаре и всем остальным, что он вовсе не постарел и, напротив, посвятил себя гораздо более важному делу, чем прежняя его работа.

Он считал, что сейчас он прописывает душам землян корректирующие очки — ни более ни менее. Билли считал, что на Земле столько несчастных заблудших душ, потому что они не могут видеть все так же ясно, как его маленькие друзья-тральфамадорцы.

— Не лги мне, отец, — сказала Барбара. — Я отлично знаю, что ты слышал, как я тебя звала.

Она была довольно хорошенькая, только ноги у нее были как ножки у старинного рояля. Она стала ругательски ругать Билли за письмо в газету. Она сказала, что он выставляет на посмешище себя и всех, кто с ним связан.

— Ах, отец, отец, отец, — сказала Барбара, — ну что нам с тобой делать? Хочешь заставить нас отправить тебя туда, где твоя мама?

Дело в том, что мать Билли еще была жива. Она лежала без движения в пансионе для пре-

старелых, в так называемом Сосновом бору, на окраине Илиума.

— Да что тебя так рассердило в моем письме? — спросил Билли.

— Но это сплошной бред! Там все неправда.

— Нет, все правда. — Билли не сердился, как сердилась она. Он никогда ни на кого не сердился. Удивительный у него был характер.

— Нет такой планеты Тральфамадор!

— То есть ты хочешь сказать, что ее не видно с Земли, — сказал Билли. — А с Тральфамадора Земли не видать, понимаешь? Обе планеты очень малы. И расстояние между ними огромное.

— Откуда ты взял такое дурацкое название — Тральфамадор?

— Так ее называют существа, живущие там.

— О Господи! — сказала Барбара и повернулась к нему спиной. В справедливой досаде она похлопывала ладонью: — Разреши задать тебе простой вопрос?

— Конечно, пожалуйста.

— Почему ты никогда обо всем этом не говорил до катастрофы с самолетом?

— Считал, что время еще *не приспело.*

Ну и так далее. Билли говорит, что впервые заплутался во времени в 1944 году, задолго до

полета на Тральфамадор. Тральфамадорцы тут были ни при чем. Они просто помогли ему понять то, что происходило на самом деле.

Билли заблудился во времени, когда еще шла Вторая мировая война. На войне Билли служил помощником капеллана. Обычно в американской армии помощник капеллана — фигура комическая. Не был исключением и Билли. Он никак не мог ни повредить врагам, ни помочь друзьям. Фактически друзей у него и не было. Он был служкой при священнике, ни повышений, ни наград не ждал, оружия не носил и смиренно верил в Иисуса кротчайшего, а большинство американских солдат считали это юродством.

Во время маневров в Южной Каролине Билли играл знакомые с детства гимны на маленьком черном органе, покрытом непромокаемым чехлом. На органе было тридцать девять клавишей и две педали — vox humana и vox celesta[2]. Кроме того, Билли был поручен портативный алтарь, что-то вроде складной папки с выдвижными ножками. Папка была оклеена внутри алым плюшем, а на этом жарком плюше лежали алюминиевый полированный крест и Библия.

---

[2] Сноски: 2
Голос человеческий и глас небесный *(лат.).*

И алтарь, и орган были сделаны на фабрике пылесосов, в Нью-Джерси, о чем свидетельствовала марка фирмы.

Однажды во время маневров в Каролине Билли играл гимн «Твердыня веры наш Господь» — музыка Иоганна Себастьяна Баха, слова Мартина Лютера. Это было утром в воскресенье, и Билли со своим капелланом собрали человек пятьдесят солдат на каролинском холме. Вдруг появился наблюдатель. На маневрах было полным-полно наблюдателей, людей, которые сообщали, кто победил и кто проиграл в условных боях, кто живой, а кто мертвый.

Наблюдатель принес смешную весть. Оказывается, молящихся условно засек с воздуха условный неприятель. И все они были условно убиты. Условные трупы захохотали и с удовольствием как следует позавтракали.

Вспоминая этот случай много позднее, Билли был поражен, насколько эта история была в тральфамадорском духе — быть убитым и в то же время завтракать.

К концу маневров Билли получил внеочередной отпуск, потому что его отца нечаянно подстрелил товарищ, с которым они охотились на оленей. Такие дела.

Когда Билли вернулся из отпуска, его ждал приказ — отправиться за море. Его затребовал штаб одного из пехотных полков, сражавшихся в Люксембурге. Помощник полкового капеллана был там убит в бою. Такие дела.

Полк, куда явился Билли, в это время изничтожался немцами в знаменитом сражении в Арденнах. Билли даже не встретился с капелланом, к которому был назначен помощником, ему даже не успели выдать ни стального шлема, ни сапог. Было это в декабре 1944 года, во время последнего мощного наступления германской армии.

Билли спасся, но, совершенно обалделый, побрел куда-то, далеко за новые позиции немцев. Три других спутника, не таких обалделых, как Билли, позволили ему брести за ними. Двое из них были разведчиками, третий — стрелок противотанкового полка. Ни продовольствия, ни карты у них не было. Избегая немцев, они все глубже уходили в предательскую сельскую тишину. Они ели снег.

Шли они гуськом. Первыми шли разведчики, ловкие, складные, спокойные. У них были винтовки. За ними шел стрелок, неуклюжий и туповатый малый, держа наготове против нем-

цев в одной руке автоматический «кольт», а в другой — охотничий нож.

Последним брел Билли с пустыми руками, уныло ожидая смерти. Билли выглядел нелепо: высокий, шесть футов три дюйма, грудь и плечи — как большой коробок спичек. У него не было ни шлема, ни шинели, ни оружия, ни сапог. На ногах у него были дешевые, глубоко гражданские открытые туфли, купленные для похорон отца. Один каблук отвалился, и Билли шел прихрамывая, вверх-вниз, вверх-вниз. От невольного пританцовывания болели все суставы.

На нем была тонкая форменная куртка, рубаха и брюки из кусачей шерсти, а под ними — длинные кальсоны, мокрые от пота. Из всех он один был с бородой. Борода была растрепанная, щетинистая, и некоторые щетинки были совсем седые, хотя Билли исполнился только двадцать один год. Он начинал лысеть. От ветра, холода и быстрой ходьбы лицо у него побагровело.

Он был совершенно не похож на солдата. Он походил на немытого фламинго.

Так они бродили два дня, а на третий день кто-то выстрелил по их четверке — они как раз переходили узкую мощеную дорожку. Один выстрел предназначался разведчикам. Второй —

стрелку, которого звали Роланд Вири.

А третья пуля полетела в немытого фламинго, и он застыл на месте посреди дороги, когда смертельная пчела прожужжала мимо его уха. Билли вежливо остановился — надо же дать снайперу еще одну возможность. У него были путаные представления о правилах ведения войны, и ему казалось, что снайперу *надо* дать попробовать еще разок.

Вторая пуля чуть не задела коленную чашечку Билли и, судя по звуку, пролетела в каком-нибудь дюйме.

Роланд Вири и оба разведчика уже благополучно спрятались в канаве, и Вири зарычал на Билли: «Уйди с дороги, мать твою трам-тарарам». Тогда, в 1944 году, этот глагол редко употреблялся вслух. Билли очень удивился, а так как он сам еще никогда никого не «трам-тарарам», эти слова прозвучали очень свежо и возымели действие. Он очнулся и убежал с дороги.

«Опять спас тебе жизнь, дурак такой-растакой», — сказал Вири, когда Билли спрыгнул в канаву. Он сто раз на дню спасал Билли жизнь: ругал его на чем свет стоит, бил, толкал, чтобы тот не останавливался. Это была необходимая жестокость, потому что Билли ничего не желал делать

для своего спасения. Билли хотелось все бросить. Он замерз, оголодал, растерялся, ничего не умел. Он еле отличал сон от бдения, а на третий день уже не чувствовал никакой разницы — шел он или стоял на месте. Он хотел одного — чтобы его оставили в покое. «Идите без меня, ребята», — повторял он без конца.

Вири тоже был новичком на войне. Его тоже прислали взамен другого. Он попал в орудийный расчет и помог выпустить один свирепый снаряд — из пятидесятимиллиметровой противотанковой пушки. Снаряд вжикнул, как молния на брюках самого Вседержителя. Снаряд сожрал снег и траву, словно пламя огнемета в тридцать футов длиной. Пламя оставило на земле черную стрелу, точно указавшую немцам, где стояла пушка. В цель снаряд не попал.

А целью был танк «тигр». Словно принюхиваясь, он поворачивал свой восьмидесятимиллиметровый хобот, пока не увидал стрелу на земле. Танк выстрелил. Выстрел убил весь орудийный расчет, кроме Вири. Такие дела.

* * *

Роланду Вири было всего восемнадцать лет, и

за его спиной лежало несчастливое детство, проведенное главным образом в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В Питтсбурге его не любили. Не любили его за то, что он был глупый, жирный и подлый и от него пахло копченым салом, сколько он ни мылся. Его вечно отшивали ребята, не желавшие с ним водиться.

Вири терпеть не мог, когда его отшивали. Его отошьют — а он найдет мальчишку, которого ребята не любят еще больше, чем его, и начинает притворяться, что хорошо к нему относится. Сначала дружит с ним, а потом найдет какой-нибудь предлог и изобьет до полусмерти.

И так всегда. Отношения с ребятами у него шли как по плану — гнусные, полуэротические, кровожадные. Вири рассказывал им про коллекцию своего отца — тот собирал ружья, сабли, орудия пыток, кандалы, наручники и всякое такое. Отец Вири был водопроводчиком, действительно коллекционировал такие штуки, и его коллекция была застрахована на четыре тысячи долларов. И он был не одинок. Он был членом большого клуба, куда входили любители таких коллекций.

Отец Вири однажды подарил его мамаше вместо пресс-папье настоящие испанские тиски для пальцев в полной исправности. Другой раз он ей

подарил настольную лампу, а подставка, в фут высотой, изображала знаменитую «железную деву» из Нюрнберга. Подлинная «железная дева» была средневековым орудием пытки, что-то вроде котла, снаружи похожего на женщину, а внутри усаженного шипами… Спереди женщина раскрывалась двумя дверцами на шарнирах. Замысел был такой: засадить туда преступника и медленно закрывать дверцы. Внутри были два специальных шипа на том месте, куда приходились глаза жертвы. На дне был сток, чтобы выпускать кровь.

Вот такие дела.

Вири рассказывал Билли Пилигриму про «железную деву», про сток на дне и зачем его там устроили. Он рассказал Билли про пули «дум-дум». Он рассказал ему про пистолет системы Деррингера, который можно было носить в жилетном кармане, а дырку в человеке он делал такой величины, что «летучая мышь могла пролететь и крылышек не запачкать».

Вири с презрением предложил побиться с Билли об заклад, что тот даже не знает, что значит «сток для крови». Билли предположил, что это дырка на дне «железной девы», но он не угадал. Стоком для крови, объяснил Вири, назывался

неглубокий желобок на лезвии сабли или штыка.

Вири рассказывал Билли про всякие затейливые пытки — он про них и читал, и в кино насмотрелся, и по радио наслушался — и про всякие другие затейливые пытки, которые он сам изобрел. Он спросил Билли, какая, по его мнению, самая ужасная пытка. У Билли никакого своего мнения на этот счет не было. Оказывается, верный ответ был такой: «Надо связать человека и положить в муравейник в пустыне, понял? Положить лицом кверху, и весь пах вымазать медом, а веки срезать, чтоб смотрел прямо на солнце, пока не сдохнет».

Такие дела.

Теперь, лежа в канаве с двумя разведчиками и с Билли, Роланд Вири заставил Билли как следует разглядеть свой охотничий нож. Нож был не казенный. Роланду подарил нож его отец. У ножа было трехгранное лезвие длиной в десять дюймов. Ручка у него была в виде медного кастета из ряда колец, в которые Вилли просовывал свои жирные пальцы. И кольца были не простые. На них топорщились шипы.

Вири прикладывал шипы к лицу Билли и с осторожной свирепостью поглаживал его щеку:

— Хочешь — ударю, хочешь? М-ммм? Мммммммм?

— Нет, не хочу, — сказал Билли.

— А знаешь, почему лезвие трехгранное?

— Нет, не знаю.

— От него рана не закрывается.

— А-аа.

— От него дырка в человеке треугольная. Обыкновенным ножом ткнешь в человека — получается разрез. Понял? А разрез сразу закрывается. Понял?

— Понял.

— Фиг ты понял. И чему вас только учат в колледжах в ваших!

— Я там недолго пробыл, — сказал Билли. И он не соврал. Он пробыл в колледже всего полгода, да и колледж-то был ненастоящий. Это были вечерние курсы оптометристов.

— Липовый твой колледж, — ядовито сказал Вири.

Билли пожал плечами.

— В жизни такое бывает, чего ни в одной книжке не прочитаешь, — сказал Вири. — Сам увидишь.

На это Билли ничего не ответил: там, в канаве, ему было не до разговоров. Но он чувствовал смут-

ное искушение — сказать, что и ему кое-что было известно про кровь и все такое. В конце концов, Билли не зря с самого детства изо дня в день утром и вечером смотрел на жуткие муки и страшные пытки. В Илиуме, в его детской комнатке, висело ужасающее распятие. Военный хирург одобрил бы клиническую точность, с которой художник изобразил все раны Христа — рану от копья, раны от тернового венца, рваные раны от железных гвоздей. В детской у Билли Христос умирал в страшных муках. Его было ужасно жалко.

Такие дела.

Билли не был католиком, хотя и вырос под жутким распятием. Отец его никакой религии не исповедовал. Мать была вторым органистом в нескольких церквах города. Она брала Билли с собой в церкви, где ей приходилось заменять органиста, и научила его немножко играть. Она говорила, что примкнет к церкви, когда решит, которая из них самая правильная.

Но решить она так и не решила. Однако ей очень хотелось иметь распятие. И она купила распятие в Санта-Фе, в лавочке сувениров, когда их небольшое семейство съездило на Запад, во время Великой депрессии. Как многие американцы, она пыталась украсить свою жизнь вещами,

которые продавались в лавочках сувениров.

И распятие повесили на стенку в детской Билли Пилигрима.

Оба разведчика, поглаживая полированные приклады винтовок, прошептали, что пора бы выбраться из канавы. Прошло уже десять минут, но никто не подошел посмотреть — подстрелили их или нет, никто их не прикончил. Как видно, одинокий стрелок был где-то далеко.

Все четверо выползли из канавы, не навлекая на себя огня. Они доползли до леса — на четвереньках, как и полагалось таким большим невезучим млекопитающим. Там они встали на ноги и пошли быстрым шагом. Лес был старый, темный. Сосны были посажены рядами. Кустарник там не рос. Нетронутый снег в четыре дюйма толщиной укрывал землю. Американцам приходилось оставлять следы на снегу, отчетливые, как диаграмма в учебнике бальных танцев, — шаг, скольжение, стоп, шаг, скольжение, стоп.

— Закрой пасть и молчи! — предупредил Роланд Вири Билли Пилигрима, когда они шли. Вири был похож на китайского болванчика, готового к бою. Он и был низенький и круглый, как шар.

На нем было все когда-либо выданное обмун-

дирование, все вещи, присланные в посылках из дому: шлем, шерстяной подшлемник, вязаный колпак, шарф, перчатки, нижняя рубашка бумажная, нижняя рубашка шерстяная, верхняя шерстяная рубаха, свитер, гимнастерка, куртка, шинель, кальсоны бумажные, кальсоны шерстяные, брюки шерстяные, носки бумажные, носки шерстяные, солдатские башмаки, противогаз, котелок, ложка с вилкой, перевязочный пакет, нож, одеяло, плащ-палатка, макинтош, Библия в пулезащитном переплете, брошюра под названием «Изучай врага!», еще брошюра «За что мы сражаемся» и еще разговорник с немецким текстом в английской фонетике, чтобы Вири мог задавать немцам вопросы, как то: «Где находится ваш штаб?», или «Сколько у вас гаубиц?», или сказать: «Сдавайтесь! Ваше положение безвыходно», и так далее.

Кроме того, у Вири была деревянная подставка, чтобы легче было вылезти из стрелковой ячейки. У него был профилактический пакет с двумя очень крепкими кондомами «исключительно для предупреждения заражения». У него был свисток, но он его никому не собирался показывать, пока не станет капралом. У него была порнографическая открытка, где женщина пыта-

лась заниматься любовью с шотландским пони. Вири несколько раз заставлял Билли Пилигрима любоваться этой открыткой.

Женщина и пони позировали перед бархатным занавесом, украшенным помпончиками. По бокам возвышались дорические колонны. Перед одной из колонн стояла пальма в горшке. Открытка, принадлежавшая Вири, была копией самой первой в мире порнографической фотографии. Само слово «фотография» впервые услышали в 1839 году — в этом году Луи Ж.-М. Дагерр доложил Французской академии, что изображение, попавшее на пластинку, покрытую тонким слоем йодистого серебра, может быть проявлено при воздействии ртутных паров.

В 1841 году, всего лишь два года спустя, Андре Лефевр, ассистент Дагерра, был арестован в Тюильрийском саду за то, что пытался продать какому-то джентльмену фотографию женщины с пони. Кстати, впоследствии и Вири купил свою открытку там же — в Тюильрийском саду. Лефевр пытался доказать, что эта фотография — настоящее искусство и что он хотел оживить греческую мифологию. Он говорил, что колонны и пальма в горшке для этого и поставлены.

Когда его спросили, какой именно миф он хо-

тел изобразить, Лефевр сказал, что существуют тысячи мифов, где женщина — смертная, а пони — один из богов.

Его приговорили к шести месяцам тюрьмы. Там он умер от воспаления легких. Такие дела.

Билли и разведчики были очень худые. На Роланде Вири было много лишнего жира. Он пылал, как печка, под всеми своими шерстями и одежками.

В нем было столько энергии, что он без конца бегал от Билли к разведчикам, передавая знаками какие-то приказания, которых никто не посылал и никто не желал выполнять. Кроме того, он вообразил, что, проявляя настолько больше активности, чем остальные, он уже стал их вожаком.

Он был так закутан и так потел, что всякое чувство опасности у него исчезло. Внешний мир он мог видеть только ограниченно, в щелку между краем шлема и вязаным домашним шарфом, который закрывал его мальчишескую физиономию от переносицы до подбородка. Ему было так уютно, что он уже представлял себе, что благополучно вернулся домой, выжив в боях, и рассказывает родителям и сестре правдивую историю войны — хотя на самом деле правдивая

история войны еще продолжалась.

У Вири сложилась такая версия правдивой истории войны: немцы начали страшную атаку. Вири и его ребята из противотанковой части сражались как львы, и все, кроме Вири, были убиты. Такие дела. А потом Вири встретился с двумя разведчиками, и они страшно подружились и решили пробиться к своим. Они решили идти без остановки. Будь они прокляты, если сдадутся. Они пожали друг другу руки. Они решили называться «три мушкетера».

Но тут к ним попросился этот несчастный студентишка, такой слабак, что для него в армии не нашлось дела. У него ни винтовки, ни ножа не было. У него даже шлема не было, даже фуражки. Он и идти прямо не мог, шкандыбал вверх-вниз, вверх-вниз, чуть с ума их не свел, мог запросто выдать их позицию. Жалкий малый. «Три мушкетера» его и толкали, и тащили, и вели, пока не дошли до своей части. Так про себя сочинял Вири. Спасли ему шкуру, этому студентишке несчастному.

А на самом деле Вири замедлил шаги — надо было посмотреть, что там случилось с Билли. Он сказал разведчикам:

— Подождите, надо пойти за этим чертовым

идиотом.

Он пролез под низкой веткой. Она звонко стукнула его по шлему. Вири ничего не услышал. Где-то залаяла собака. Вири и этого не слышал. В мыслях у него разворачивался рассказ о войне. Офицер поздравлял «трех мушкетеров», обещая представить их к бронзовой звезде.

«Могу я быть вам полезным, ребята?» — спрашивал офицер.

«Да, сэр, — отвечал один из разведчиков. — Мы хотим быть вместе до конца войны, сэр. Можете вы сделать так, чтобы никто не разлучал «трех мушкетеров»?»

Билли Пилигрим остановился в лесу. Он прислонился к дереву и закрыл глаза. Голова у него откинулась, ноздри затрепетали. Он походил на поэта в Парфеноне.

Тут Билли впервые отключился от времени. Его сознание величественно проплыло по всей дуге его жизни в смерть, где светился фиолетовый свет. Там не было никого и ничего. Только фиолетовый свет — и гул.

А потом Билли снова вернулся назад, пока не дошел до утробной жизни, где был алый свет и плеск. И потом вернулся в жизнь и остановился. Он был маленький мальчик и стоял под душем

со своим волосатым отцом в илиумском клубе ХАМЛ[3]. Рядом был плавательный бассейн. Оттуда несло хлором, слышался скрип досок на вышке.

Маленький Билли ужасно боялся: отец сказал, что будет учить его плавать методом «плыви или тони!». Отец собирался бросить его в воду на глубоком месте — придется Билли плыть, черт возьми!

Это походило на казнь. Билли весь онемел, пока отец нес его на руках из душа в бассейн. Он закрыл глаза. Когда он их открыл, он лежал на дне бассейна и вокруг звенела чудесная музыка. Он потерял сознание, но музыка не умолкала. Он смутно почувствовал, что его спасают. Билли очень огорчился.

Потом он пропутешествовал в 1965 год. Ему шел сорок второй год, и он навещал свою престарелую мать в Сосновом бору — пансионе для стариков, куда он ее устроил всего месяц назад. Она заболела воспалением легких, и думали, что ей не выжить. Но она прожила еще много лет.

Голос у нее почти пропал, так что Билли приходилось прикладывать ухо почти к самым ее

---

[3] Сноски: 3

ХАМЛ — Христианская ассоциация молодых людей. — *Примеч. пер.*

губам, сухим, как бумага. Очевидно, ей хотелось сказать что-то очень важное.

— Как… — начала она и остановилась. Она слишком устала. Видно, она понадеялась, что договаривать не надо: Билли сам закончит фразу за нее.

Но Билли понятия не имел, что она хочет сказать.

— Что «как», мама? — подсказал он ей.

Она глотнула воздух, слезы покатились по лицу. Но тут она собрала все силы своего разрушенного тела, от пальцев на руках до самых пяток. И наконец у нее хватило сил прошептать всю фразу:

— Как это я так *состарилась*!

Престарелая мать Билли забылась сном, и его проводила из комнаты хорошенькая сиделка. Когда Билли вышел в коридор, на носилках провезли тело старика, прикрытое простыней. Старик когда-то был знаменитым бегуном. Такие дела. Кстати, все это было перед тем, как Билли разбил голову при катастрофе самолета — перед тем, как он так красноречиво заговорил о летающих блюдцах и путешествии во времени.

Билли сидел в приемной. Тогда он еще не овдовел. Под тугими подушками кресла он нащупал

что-то твердое. Он потянул за уголок и вытащил книжку. Она называлась: «Казнь рядового Словика», автор Уильям Бредфорд Гьюн. Это был правдивый рассказ о расстреле американского солдата, рядового Эдди Д. Словика, № 36896415, единственного солдата со времен Гражданской войны, расстрелянного самими американцами за трусость.

Такие дела.

Билли прочитал изложенное в книге мнение видного юриста, члена суда, по поводу дела Словика. В конце говорилось так:

Он бросил прямой вызов государственной власти, и все будущие дисциплины зависят от решительного ответа на этот вызов. Если за дезертирство полагается смертная казнь, то в данном случае ее применить необходимо, и не как меру наказания, не как воздаяние, но исключительно как способ поддержать дисциплину, которая является единственным условием успехов армии в борьбе с врагом. В данном случае никаких просьб о помиловании не поступало, да это и не рекомендуется.

Такие дела.

Билли мигнул в 1965 году, перелетел во времени обратно, в 1958 год. Он был на банкете в честь

команды Молодежной лиги, в которой играл его сын, Роберт. Тренер, закоренелый холостяк, говорил речь. Он просто задыхался от волнения.

— Клянусь Богом, — говорил он, — я считал бы честью подавать воду этим ребятам.

Билли мигнул в 1958 году, перелетел во времени в 1961-й. Был канун Нового года, и Билли безобразно напился на вечеринке, где все были оптиками либо женами оптиков.

Обычно Билли пил мало — после войны у него болел желудок, — но тут он здорово нализался и сейчас изменял своей жене, Валенсии, в первый и последний раз в жизни. Он как-то уговорил одну даму спуститься с ним в прачечную и сесть на сушилку, которая гудела.

Дама тоже была очень пьяна и помогала Билли снять с нее резиновый пояс.

— А что вы мне хотели сказать? — спросила она.

— Все в порядке, — сказал Билли. Он честно думал, что все в порядке. Имени дамы он вспомнить не мог.

— Почему вас называют Билли, а не Вильям?

— Деловые соображения, — сказал Билли.

И это была правда. Тесть Билли, владелец Илиумских оптометрических курсов, взявший Билли

к себе в дело, был гением в своей области. Он сказал: пусть Билли позволяет людям называть себя просто Билли — так они лучше его запомнят. И в этом будет что-то особенное, потому что других взрослых Билли вокруг не было. А кроме того, люди сразу станут считать его своим другом.

Тогда же на вечеринке разразился ужасающий скандал, люди возмущались Билли и его дамой, и Билли как-то очутился в своей машине, ища, где же руль.

Сейчас это было важнее всего — найти руль. Сначала Билли махал руками, как мельница, надеясь случайно на него наткнуться. Когда это не удалось, он стал искать руль методически, постепенно, так, что руль от него никак не мог спрятаться. Он крепко прижался к левой дверце и обшарил каждый квадратный дюйм перед собой. Когда руль не обнаружился, Билли продвинулся вперед на шесть дюймов и снова стал нашаривать руль. Как ни странно, он ткнулся носом в правую дверцу, не найдя руля. Он решил, что кто-то его украл. Это его рассердило, но он тут же свалился и уснул.

Оказывается, он сидел на заднем сиденье машины, а потому и не мог найти руль.

Тут кто-то сильно потряс Билли, и он проснулся.

Билли все еще был пьян и все еще злился из-за украденного руля. Но тут он снова оказался во Второй мировой войне, в тылу у немцев. Тряс его Роланд Вири. Вири сгреб Билли за грудки. Он стукнул его об дерево, потом дернул назад и толкнул туда, куда надо было идти.

Билли остановился, потряс головой.

— Идите сами! — сказал он.

— Что?

— Идите без меня, ребята. Я в порядке.

— Ты что?

— Все в порядке…

— У, черт тебя раздери, — сказал Вири сквозь пять слоев мокрого шарфа, присланного из дому. Билли никогда не видел лица Роланда Вири. Он пытался вообразить, какой он, но ему все представлялось что-то вроде жабы в аквариуме.

С четверть мили Роланд толкал и тащил Билли вперед. Разведчики ждали под берегом замерзшей речки. Они слышали собачий лай. Они слышали, как перекликались человеческие голоса, перекликались, как охотники, уже учуявшие, где дичь.

Берег речки был достаточно высок, и разведчиков за ним не было видно. Билли нелепо скатился с берега. После него сполз Вири, звеня и звякая,

пыхтя и потея.

— Вот он, ребята, — сказал Вири. — Жить ему неохота, да мы его заставим. А когда спасется, так поймет, клянусь Богом, что жизнь ему спасли «три мушкетера».

Разведчики впервые услыхали, что Вири зовет их про себя «тремя мушкетерами».

Билли Пилигрим шел по замерзшему руслу речки, и ему казалось, что его тело медленно испаряется. Только бы его оставили в покое хоть на минуту, думал он, никому не пришлось бы с ним возиться. Он весь превратился бы в пар и медленно всплыл бы к верхушкам деревьев.

Где-то снова залаяла собака. От эха в зимней тишине лай собаки звучал как удары огромного медного гонга и страшно испугал Билли.

Восемнадцатилетний Роланд Вири протиснулся между двумя разведчиками.

— Ну, что теперь предпримут «три мушкетера»?

У Билли Пилигрима начались приятнейшие галлюцинации. Ему казалось, что на нем были толстые белые шерстяные носки и он легко скользил по паркету бального зала. Тысячи зрителей аплодировали ему. Это не было путешествием во времени. Ничего похожего никогда не было,

никогда быть не могло. Это был бред умирающего мальчишки, в чьи башмаки набился снег.

Один из разведчиков, опустив голову, длинно сплюнул. Другой тоже. Они увидели, как мало значил для снега и для истории такой плевок. Оба разведчика были маленькие, складные. Они уже много раз побывали в тылу у немцев — жили, как лесные звери, от минуты к минуте, в спасительном страхе, мысля не головным, а спинным мозгом.

Они рывком высвободились из ласкового объятия Вири. Они сказали Вири, что ему бы, да и Билли Пилигриму тоже, лучше всего поискать — кому сдаться. Ждать их разведчики не желали.

И они бросили Вири и Билли в русле речки.

Билли Пилигрим все еще скользил в своих белых шерстяных носках, выкидывая разные трюки — любой человек сказал бы, что такая акробатика немыслима, но он кружился, тормозил на пятачке и так далее. Восторженные крики продолжались, но вдруг все изменилось: вместо галлюцинаций Билли опять стал путешествовать во времени.

Билли уже не скользил, а стоял на эстраде в китайском ресторанчике в Илиуме, штат Нью-Йорк, в осенний день 1957 года. Его стоя приветствова-

ли члены Клуба львов. Он только что был избран председателем этого клуба, и ему нужно было сказать речь. Он до смерти перепугался, решив, что произошла жуткая ошибка. Все эти зажиточные, солидные люди сейчас обнаружат, что выбрали такого жалкого заморыша. Они услышат его высокий срывающийся, как когда-то на войне, голос. Он глотнул воздух, чувствуя, что вместо голосовых связок у него внутри свистулька, вырезанная из вербы. И что еще хуже — сказать ему было нечего. Люди затихли. Все раскраснелись, заулыбались.

Билли открыл рот — и прозвучал глубокий, звучный голос. Трудно было найти инструмент великолепнее. Голос Билли звучал насмешливо, и весь зал покатывался со смеху. Он становился серьезным, снова острил и закончил смиренной благодарностью. Объяснялось это чудо тем, что Билли брал уроки ораторского искусства.

А потом он снова очутился в русле замерзшей речки. Роланд Вири бил его смертным боем.

Трагический гнев обуревал Роланда Вири. Снова с ним не захотели водиться. Он сунул пистолет в кобуру. Он воткнул нож в ножны. Весь нож целиком — и трехгранное лезвие, и желобок

для стока крови. И, встряхнув Билли так, что у него кости загремели, он стукнул его об землю у берега.

Вири орал и стонал сквозь слои шарфа — подарка из дому. Он что-то невнятно мычал про жертвы, принесенные им ради Билли. Он разглагольствовал о том, какие богобоязненные, какие мужественные люди все «три мушкетера», в самых ярких красках описывал их добродетели, их великодушие, бессмертную славу, добытую ими для себя, и бесценную службу, какую они сослужили делу христианства.

Вири считал, что эта доблестная боевая единица распалась исключительно по вине Билли и Билли за это расплатится сполна. Вири двинул его кулаком в челюсть и сбил с ног на заснеженный лед речки. Билли упал на четвереньки, и Вири ударил его ногой в ребра, перекатил его на бок. Билли весь сжался в комок.

— Тебя к армии и *подпускать* нельзя! — сказал Вири.

У Билли невольно вырвались судорожные звуки, похожие на смех.

— Ты еще смеешься, а? — крикнул Вири. Он обошел Билли со спины. Куртка, верхняя и нижняя рубашки задрались на спине у Билли почти

до плеч, спина оголилась. В трех дюймах от солдатских сапог Роланда Вири жалобно торчали Биллины позвонки.

Вири отвел правый сапог, нацелился на позвоночник, на трубку, где проходило столько нужных для Билли проводов. Вири собрался сломать эту трубку.

Но тут Вири увидал, что у него есть зрители. Пять немецких солдат с овчаркой на поводке остановились на берегу речки и глазели вниз. В голубых глазах солдат стояло мутное, совсем гражданское любопытство: почему это один американец пытается убить другого американца вдали от их родины и почему жертва смеется?

3

Немцы и собака проводили военную операцию, которая носит занятное, все объясняющее название, причем эти дела рук человеческих редко описываются детально, но одно название, встреченное в газетах или исторических книгах, вызывает у энтузиастов войны что-то вроде сексуального удовлетворения. В воображении таких любителей боев эта операция напоминает тихую любовную игру после оргазма победы. Называется она «прочесывание».

Собака, чей лай так свирепо звучал в зимней тишине, была немецкой овчаркой. Она вся дрожала. Хвост у нее был поджат. Этим утром ее взяли на время с фермы. Раньше она никогда не воевала. Она не понимала, что это за игра. Звали ее Принцесса.

Двое немцев были совсем мальчишки. Двое — дряхлые старики, беззубые, как рыбы. Это были запасники, их вооружили и одели во что попало, сняв вещи с недавно убитых строевых солдат. Такие дела. Все они были крестьяне из пограничной зоны, неподалеку от фронта.

Командовал ими капрал средних лет — красноглазый, тощий, жесткий, как пересушенное мясо. Война ему осточертела. Он был ранен четыре раза — и его чинили и снова отправляли на фронт. Он был очень хороший солдат, но готов был все бросить, лишь бы нашлось кому сдаться. На его кривых ногах красовались золотистые кавалерийские сапоги, снятые на русском фронте с мертвого венгерского полковника. Такие дела.

Кроме этих сапог, у капрала почти ничего на свете не было. Они были его домом. Анекдот: однажды солдат смотрел, как капрал начищает до блеска свои золотые сапоги, и капрал сунул сапог солдату под нос и сказал: «Посмотри как следует, увидишь Адама и Еву».

Билли Пилигрим никогда не слыхал про этот анекдот. Но лежа на почерневшем льду, Билли уставился на блеск сапог и в золотой глубине увидал Адама и Еву. Они были нагие. Они были так невинны, так легко ранимы, так старались вести себя хорошо. Билли Пилигрим их любил.

Рядом с золотыми сапогами стояла пара ног, обмотанных тряпками. Обмотки перекрещивались холщовыми завязками, на завязках держались деревянные сабо. Билли взглянул на лицо хозяина деревяшек. Это было лицо белокурого ангела,

пятнадцатилетнего мальчугана.

Мальчик был прекрасен, как праматерь Ева.

Прелестный мальчик, ангел небесный, поднял Билли на ноги. Подошли остальные, смахнули с Билли снег, обыскали его — нет ли оружия. Оружия у него не было. Самое опасное, что при нем нашли, был огрызок карандаша.

Вдали прозвучали три спокойных выстрела. Стреляли немецкие винтовки. Обоих разведчиков, бросивших Билли и Вири, пристрелили немцы. Разведчики залегли в канаве, поджидая немцев. Их обнаружили и пристрелили с тылу. Теперь они умирали на снегу, ничего не чувствуя, и снег под ними становился цвета малинового желе. Такие дела. И Роланд Вири остался последним из «трех мушкетеров».

Теперь солдаты разоружали пучеглазого от страха Вири. Капрал отдал хорошенькому мальчику пистолет Вири. ОН пришел в восхищение от свирепого ножа Вири и сказал по-немецки, что Вири небось хотел пырнуть его этим ножом, разодрать ему морду колючками кастета, распороть ему пузо, перерезать глотку. По-английски капрал не говорил, а Билли и Вири по-немецки не понимали.

— Хороша у тебя игрушка! — сказал капрал

Вири и отдал нож одному из стариков. — Что скажешь? Ничего штучка, а?

Капрал рванул шинель и куртку на груди у Вири. Пуговицы запрыгали, как жареная кукуруза. Капрал сунул руку за пазуху Билли, как будто хотел вырвать громко бьющееся сердце, но вместо сердца выхватил непробиваемую Библию.

Не пробиваемая пулями Библия — это такая книжечка, которая может уместиться в нагрудном кармане солдата, над сердцем. У нее стальной переплет.

В кармане брюк у Вири капрал нашел порнографическую открытку — женщину с пони.

— Повезло коняге, а? — сказал он. — М-ммм? Тебе бы на его место, а? — Он передал картинку другому старику: — Военный трофей! Твой будет, твой, счастливчик ты этакий!

Потом он усадил Вири на снег, снял с него солдатские сапоги и отдал их красивому мальчику. А Вири отдал деревянные сабо. Так они, и Билли и Вири, оказались без походной обуви, а идти им пришлось милю за милей, и Вири стучал деревяшками, а Билли прихрамывал — вверх-вниз, вверх-вниз, то и дело налетая на Вири.

— Извини, — говорил тогда Билли, или же: — Прошу прощения.

Наконец их привели в каменную сторожку на развилке дорог. Это был сборный пункт для пленных. Билли и Вири впустили в сторожку. Там было тепло и дымно. В печке горел и фыркал огонь. Топили мебелью. Там было еще человек двадцать американцев, они сидели на полу, прислонясь к стене, глядели в огонь и думали о том, о чем можно было думать — то есть ни о чем.

Никто не разговаривал. О войне рассказывать было нечего. Билли и Вири нашли для себя местечко, и Билли заснул на плече у какого-то капитана — тот не протестовал. Капитан был лицом духовным. Он был раввин. Ему прострелили руку.

Билли пропутешествовал во времени, открыл глаза и очутился перед зеленоглазой металлической совой. Сова висела вверх ногами на палке из нержавеющей стали. Это был оптометр в кабинете Билли, в Илиуме. Оптометр — это такой прибор, которым проверяют зрение, чтобы прописать очки.

Билли заснул во время осмотра пациентки, сидевшей в кресле по другую сторону совы. Он и раньше иногда засыпал за работой. Сначала это было смешно. Но потом Билли стал беспокоиться и об этом, и вообще о своем душевном состоянии.

Он пытался вспомнить, сколько ему лет, и не мог. Он пытался вспомнить, какой сейчас год, и тоже никак не мог.

— Доктор, — осторожно окликнула его пациентка.

— М-ммм? — сказал он.

— Вы вдруг замолчали.

— Простите.

— Вы что-то говорили, а потом вдруг остановились.

— М-мм.

— Вы увидали что-нибудь страшное?

— Страшное?

— Может, у меня какая-нибудь страшная болезнь?

— Нет, нет, — сказал Билли, которому ужасно хотелось спать. — Глаза у вас отличные. Нужны только очки для чтения.

И он велел ей пройти в другой кабинет, в конце коридора, там был большой выбор оправ.

Когда она вышла, Билли отдернул занавески и не понял, что там, на дворе. Окно закрывала штора, и Билли с шумом поднял ее. Ворвался яркий солнечный свет. На улице стояли тысячи автомобилей, сверкающих на черном асфальте. Приемная Билли находилась в здании огромного

универмага.

Прямо под окном стоял собственный «кадиллак» Билли «Эльдорадо Купэ дэ Виль». Он прочел наклейки на бампере. «Посетите каньон Озэйбл», — гласила одна. «Поддержите свою полицию», — взывала другая. Там была и третья, на ней стояло: «Не поддерживайте Уоррена». Наклейки про полицию и Эрла Уоррена подарил Билли его тесть, член общества Джона Бэрча.

На регистрационном номере стояла дата: 1967 год. Значит, Билли было сорок четыре года. И он спросил себя: «Куда же ушли все эти годы?»

Билли взглянул на свой письменный стол. На нем лежал развернутый номер «Оптометрического обозрения». Он был развернут на передовице, и Билли стал читать, слегка шевеля губами. «События 1968 года повлияют на судьбу европейских оптометристов по крайней мере лет на пятьдесят! — читал Билли. — С таким предупреждением Жан Тириарт, секретарь Национального совета бельгийских оптиков, обратился к съезду, настаивая на необходимости создания Европейского сообщества оптометристов. Надо выбирать, сказал он, либо защищать профессиональные интересы, либо к 1971 году мы станем свидетелями упадка роли оптометристов в общей

экономике».

Билли Пилигрим тщетно старался почувствовать хоть какой-то интерес.

Вдруг взвизгнула сирена, напугав его до полусмерти. С минуты на минуту он ждал начала Третьей мировой войны. Но сирена просто возвестила полдень. Она была расположена на каланче пожарной команды, как раз напротив приемной Билли.

Билли закрыл глаза. Когда он их открыл, он снова очутился во Второй мировой войне. Голова его лежала на плече раненого раввина. Немецкий солдат толкал его ногой, пытаясь разбудить, — пора было двигаться дальше.

Американцы вместе с Билли шли шутовским парадом по дороге.

Рядом оказался фотограф, военный корреспондент немецкой газеты, с «лейкой». Он сфотографировал ноги Билли и Роланда Вири. Эти фото были широко опубликованы дня через два в Германии как ободряющий пример скверной экипировки американской армии, хотя она и считалась богатой.

Но фотограф хотел снять что-нибудь более злободневное, например сдачу в плен. И охрана устроила для него инсценировку. Солдаты швыр-

нули Билли в кусты. Когда Билли вылез из кустов, расплываясь в дурацкой добродушной улыбке, они угрожающе надвинулись на него, наставив в упор автоматы, как будто брали его в плен.

Билли вылез из кустов с улыбкой не менее загадочной, чем улыбка Моны Лизы, потому что он одновременно шел пешком по Германии в 1944 году и вел свой «кадиллак» в 1967 году.

Германия исчезла, а 1967 год стал отчетливым и ярким, без интерференции другого времени. Билли ехал на завтрак в Клуб львов. Стоял жаркий августовский день, но в машине Билли работал кондиционный аппарат. Посреди черного гетто его остановил светофор. Жители этого квартала так ненавидели свое жилье, что месяц тому назад сожгли довольно много лачуг. Это было все их имущество, и все равно они его сожгли. Квартал напомнил Билли города, где он бывал в войну. Тротуары и мостовые были исковерканы — там прошли танки и бронетранспортеры национальной гвардии.

«Брат по крови» — гласила надпись, сделанная красноватой краской на стене разрушенной бакалейной лавочки.

Раздался стук в стекло машины Билли. У маши-

ны стоял черный человек. Ему хотелось что-то сказать. Светофор мигнул. И Билли сделал самое простое: он поехал дальше.

Билли проезжал по еще более безотрадным местам. Тут все напоминало то ли Дрезден после бомбежки, то ли поверхность Луны. На каком-то из этих пустырей стоял когда-то дом, где вырос Билли. Шла перестройка города. Скоро здесь должен вырасти новый административный центр Илиума, Дом искусств, бассейн «Мирный» и кварталы дорогих жилых домов.

Билли Пилигрим не возражал.

Председательствовал на собрании Клуба львов бывший майор морской пехоты. Он сказал, что американцы вынуждены сражаться во Вьетнаме до полной победы или до тех пор, пока коммунисты не поймут, что нельзя навязывать свой образ жизни слаборазвитым странам. Майор дважды побывал во Вьетнаме по долгу службы. Он рассказывал о всяких страшных и прекрасных вещах, которые ему довелось наблюдать. Он был за усиление бомбежки Северного Вьетнама, пускай у них настанет каменный век, если они отказываются внять голосу разума.

Билли не собирался протестовать против бом-

бежки Вьетнама, не содрогался, вспоминая об ужасах, которые он сам видел при бомбежке. Он просто завтракал в Клубе львов, где когда-то был председателем.

На стене в приемной у Билли висела в рамочке молитва, которая была ему поддержкой, хотя он и относился к жизни довольно равнодушно. Многие пациенты, видевшие молитву на стенке у Билли, потом говорили ему, что она и их очень поддержала.

Звучала молитва так:

Господи, дай мне душевный покой,
чтобы принимать
то, чего я не могу изменить,
мужество –
изменять то, что могу,
и мудрость –
всегда отличать
одно от другого.

К тому, чего Билли изменить не мог, относилось прошлое, настоящее и будущее.

А сейчас его представляли майору морской пехоты. Человек, знакомивший их, объяснил

майору, что Билли — ветеран войны, что у Билли есть сын — сержант «зеленых беретов» во Вьетнаме.

Майор сказал Билли, что «зеленые береты» делают отличную работу во Вьетнаме и что он должен гордиться своим сыном.

— Да, да, конечно, — сказал Билли. — Конечно!

Билли отправился домой — прикорнуть после завтрака. Доктор велел ему непременно спать днем. Доктор надеялся, что это поможет Билли вылечиться от небольшого недомогания: вдруг, без всякой причины, Билли Пилигрим начинал плакать. Никто его ни разу не видел плачущим. Знал об этом только его доктор. Да и плакал он очень тихо и сырости не разводил.

В Илиуме у Билли был прелестный старинный дом. Он был богат как Крез, хотя раньше считал, что этого ему и за миллион лет не добиться. При его оптометрическом кабинете в центре города работало еще пять оптиков, и зарабатывал он больше шестидесяти тысяч долларов в год. Кроме того, ему принадлежала пятая часть новой гостиницы «Отдых» на шоссе № 54 и половинная доля в каждом из трех киосков, продававших «холодок». «Холодок» — что-то вроде охлажден-

ного молочного коктейля. Он такой же вкусный, как мороженое, но без твердости и обжигающего холода мороженого.

Дома у Билли никого не было. Его дочь Барбара собиралась выходить замуж, и они с матерью поехали в город — выбрать для приданого хрусталь и серебро. Так было сказано в записке, оставленной на кухонном столе. Прислуги они не держали. Желающих служить в домработницах просто не было. Собаки у Билли тоже не было.

Когда-то у него была собака Спот, но она сдохла. Такие дела. Билли очень любил Спота, и Спот любил его.

Билли поднялся по устланной ковром лестнице в супружескую спальню. В спальне были обои в цветочек. Там стояла двуспальная кровать, а на тумбочке — радио с часами. На той же тумбочке были кнопки для электрогрелки и выключатель для штуки, которая называлась электровибратор — он был подключен к пружинному матрасу постели. Назывался этот вибратор «волшебные пальцы». Вибратор тоже был выдумкой доктора.

Билли снял свои выпуклые очки, пиджак, галстук и башмаки, опустил шторы, задернул портьеры и лег поверх одеяла. Но сон не шел. Вместо сна пришли слезы. Они капали. Билли

включил «волшебные пальцы», и они стали его укачивать, пока он плакал.

Зазвонил звонок у парадного. Билли встал, посмотрел в окно на входную дверь — вдруг пришел кто-то нужный. Но там стоял калека, которого бросало в пространстве, как Билли бросало по времени. Человек все время конвульсивно дергался, словно приплясывал, он непрестанно гримасничал, будто подражая каким-то знаменитым киноактерам.

Второй калека звонил в двери напротив. Он был на костылях. У него не было ноги. Костыли так поджимали, что плечи у него поднялись до ушей.

Билли знал, что затеяли эти калеки. Они продавали подписку на несуществующие журналы. Люди подписывались из жалости к этим калекам. Билли слышал об этом мошенничестве недели две назад в Клубе львов от человека из комитета по укреплению деловых связей. Этот человек говорил, что каждый, кто увидит инвалидов, собирающих подписку, должен немедленно заявить в полицию.

Билли еще раз выглянул на улицу, увидал новый шикарный «бьюик», стоявший в отдалении. Там сидел человек. Билли правильно догадался,

что это был тот, кто нанимал инвалидов на это дело. Билли плакал, глядя на калек и на их хозяина. Звонок у его дверей заливался как оглашенный.

Он закрыл глаза и опять открыл их. Он все еще плакал, но уже снова очутился в Люксембурге. Он маршировал вместе с другими пленными. Стояла зима, и слезы выступали на глазах от зимнего ветра.

С той минуты, как Билли бросили в кусты для фотосъемки, он видел огни святого Эльма, что-то вроде электронного сияния вокруг голов своих товарищей и своих стражей. Огоньки светились и на верхушках деревьев, и на крышах люксембургских домов. Это было очень красиво.

Билли шагал, положив руки на голову, как и все остальные американцы. Он шел прихрамывая — вверх-вниз, вверх-вниз. Опять он невольно налетел на Роланда Вири.

— Прошу прощения, — сказал он.

У Вири тоже текли слезы. Вири плакал от ужасающей боли в ногах. Деревянные сабо превращали его ноги в кровяной пудинг.

На каждом перекрестке к группе Билли присоединялись другие американцы, тоже державшие руки на голове, окруженной ореолом. Билли всем им улыбался. Они текли, как вода с горы,

вниз по дороге и наконец слились в один поток на шоссе, в долине. По долине, как Миссисипи, потекла река униженных американцев. Тысячи американцев брели на восток, положив руки на голову. Они вздыхали и стонали.

Билли и его группа влились в этот поток унижения, и к вечеру из-за облаков выглянуло солнце. Американцы шли по дороге не одни. По другому краю дороги им навстречу с грохотом клубился поток машин, везущих германские резервы на фронт. Резерв состоял из свирепых, загорелых, заросших щетиной солдат. Зубы у них блестели, как клавиши рояля.

Они были обвешаны автоматами, патронташами, курили сигары и хлестали пиво. Как волки, вгрызались они в куски колбасы и сжимали ручные гранаты в загрубевших ладонях.

Один солдат, весь в черном, пьяный вдребезину, устроил себе «отдых героя», развалившись на крышке танка. Он плевал в американцев. Плевок шлепнулся на плечо Роланда Вири, обеспечив его сразу слюной, колбасной жвачкой и шнапсом.

Все в этот день возбуждало в Билли жгучий интерес. Много чего он навидался — видел и зубы дракона, и машины для убийства, и босых мерт-

вецов с ногами цвета слоновой кости с просинью. Такие дела.

Прихрамывая вверх-вниз, вверх-вниз, Билли широко улыбнулся ярко-сиреневой ферме, изрешеченной пулеметным огнем. За криво повисшей дверью был виден немецкий полковник. Рядом с ним стояла его растрепанная шлюха.

Билли налетел на спину Роланда Вири, и тот, всхлипывая, закричал:

— Не толкайся! Не толкайся!

Они подымались по некрутому склону. Когда они дошли до вершины, они уже были вне Люксембурга. Они были в Германии.

На границе стояла кинокамера, чтобы запечатлеть потрясающую победу. Двое штатских в медвежьих шубах стояли у камеры, когда проходили Билли и Вири. Пленка у них давно кончилась.

Один из них навел аппарат на лицо Билли, потом сразу перевел на общий план. Там вдали подымалась тонкая струйка дыма. Там шел бой. Люди там умирали. Такие дела.

Солнце село, и Билли дохромал до железнодорожных путей. Там стояли бесконечные ряды теплушек. В них привезли резервы на фронт. Теперь в них должны были увезти пленных в

Германию.

Лучи прожекторов метались как безумные.

Немцы рассортировали пленных по званиям. Они поставили сержантов с сержантами, майоров с майорами и так далее. Отряд полковников стоял рядом с Билли. У одного из полковников было двустороннее воспаление легких. У него был жар и головокружение. Железнодорожные пути прыгали и кружились у него перед глазами, и он старался сохранить равновесие, уставившись в глаза Билли.

Полковник кашлял и кашлял, потом спросил у Билли:

— Из моих ребят?

Этот человек потерял свой полк — около четырех тысяч пятисот человек. Многие из них были совсем детьми. Билли не ответил. Вопрос был бессмысленный.

— Из какой части? — спросил полковник. Потом стал кашлять, кашлять без конца. При каждом вздохе его легкие трещали, как вощеная бумага.

Билли не мог вспомнить номер своей части.

— Из пятьдесят четвертого?

— Пятьдесят четвертого чего? — спросил Билли.

Наступило молчание.

— Пехотного полка, — сказал наконец полковник.

— А-аа, — сказал Билли.

Снова наступило молчание, и полковник стал умирать, умирать, тонуть на месте. И вдруг прохрипел сквозь мокроту:

— Это я, ребята! Бешеный Боб!

Ему всегда хотелось, чтобы солдаты так его звали — «Бешеный Боб».

Все, кто его мог слышать, были из других частей, кроме Роланда Вири, но Вири ничего не слышал. Ни о чем, кроме адской боли в ногах, Вири думать не мог.

Но полковник воображал, что в последний раз обращается к своим любимым солдатам, и стал им говорить, что стыдиться им нечего, что все поле покрыто трупами врагов и что лучше бы немцам не встречаться с пятьдесят четвертым. Он говорил, что после войны соберет весь полк в своем родном городе — в Коди, штат Вайоминг. И зажарит им целого быка.

И все это он говорил, не сводя глаз с Билли. У Билли в голове звенело от всей этой чепухи.

— Храни вас Бог, ребятки! — сказал полковник, и слова отдались эхом в мозгу Билли. А потом полковник сказал: — Если попадете в Коди, штат

Вайоминг, спросите Бешеного Боба.

Я был при этом. И мой дружок Бернард В. О'Хэйр тоже.

Билли Пилигрима посадили в теплушку с множеством других солдат. Его разлучили с Роландом Вири. Вири попал в другой вагон, хотя и в тот же поезд.

По углам вагона, под самой крышей, виднелись узкие отдушины. Билли встал под одной из них, и, когда толпа навалилась на него, он взобрался повыше на выступающую диагональную угловую скрепу, чтобы дать место другим. Таким образом его глаза оказались на уровне отдушины и он мог видеть второй состав, ярдах в десяти от них.

Немцы писали на вагонах синими мелками число пленных в каждом вагоне, их звания, их национальность, день посадки. Другие немцы закрепляли задвижки на вагонных дверях проволокой, болтами и всяким другим металлическим ломом, подобранным на путях. Билли слышал, как кто-то писал и на его вагоне, но не видел, кто именно этим занимался.

Большинство солдат в вагоне Билли оказались очень молодыми, почти детьми. Но в угол подле Билли втиснулся бывший бродяга лет сорока.

— Я и не так голодал, — сказал бродяга Билли. —

И бывал кой-где похуже. Не так уж тут плохо.

Из вагона напротив кто-то закричал в отдушину, что у них только что умер человек. Такие дела. Услыхали его четверо из охраны. Их эта новость ничуть не взволновала.

— Йа-йа, — сказал один, задумчиво кивая головой. — Йа, йа-аа…

Охрана так и не стала открывать вагон, где был покойник. Вместо этого они отворили соседний вагон, и Билли Пилигрим как зачарованный уставился туда. Там был рай. Там горели свечи и стояли койки с грудой одеял и подушек. Там была пузатая печурка, а на ней — кипящий кофейник. Там стоял стол, и на нем — бутылка вина, коврига хлеба и кусок колбасы. И еще там было четыре миски с супом.

На стенах висели картинки — дворцы, озера, красивые девушки. Это был дом на колесах, и жили в нем железнодорожники, охранявшие грузы, которые шли туда и обратно. Четверо охранников зашли в вагон и задвинули двери.

Немного спустя они вышли, куря сигары и разговаривая с мягким южногерманским акцентом. Один из них увидел лицо Билли у отдушины. Он ласково погрозил ему пальцем: веди, мол, себя хорошо.

Американцы на другом пути снова крикнули охране, что у них в вагоне покойник. Охранники вынесли носилки из своего уютного вагончика, открыли вагон, где был покойник, и прошли внутрь. Там было почти пусто. В вагоне находилось шесть живых полковников и один мертвый.

Немцы вынесли покойника. Это был Бешеный Боб. Такие дела.

Ночью паровозы стали перекликаться гудками и тронулись с места. На паровозе и на последнем вагоне висел полосатый черно-оранжевый флажок — он показывал, что поезд бомбить нельзя, что он везет военнопленных.

Война шла к концу. Паровозы двинулись на восток в конце декабря. А в мае войне пришел конец. Пока что все германские тюрьмы были переполнены, нечем было кормить пленных, нечем отапливать помещения. И все же пленных везли и везли.

Поезд Билли Пилигрима, самый длинный из всех, простоял еще двое суток.

— Бывает и хуже, — сказал бродяга на второй день. — Бывает куда хуже.

Билли выглянул из отдушины. Пути совсем опустели, только где-то в дальнем тупике стоял

санитарный поезд с красными крестами. Паровоз санитарного поезда свистнул. Паровоз Биллиного поезда засвистел в ответ. Паровозы говорили друг дружке: «Здрасьте!»

* * *

Хотя поезд, где находился Билли, стоял, но вагоны были заперты наглухо. Никто не смел выйти до прибытия к месту назначения. Для охраны, шагающей взад и вперед, каждый вагон стал самостоятельным организмом, который ел, пил и облегчался через отдушины. Вагон разговаривал, а иногда и ругался тоже через отдушины. Внутрь входили ведра с водой, ковриги черного хлеба, куски колбасы, сыра, а оттуда выходили экскременты, моча и ругань.

Человеческие существа облегчались в стальные шлемы и передавали их тем, кто стоял у отдушин, а те их выливали. Билли стоял на подхвате. Человеческие существа передавали через него и котелки, а охрана наполняла их водой. Когда передавали пищу, человеческие существа затихали, становились доверчивыми и хорошими. Они всем делились.

Человеческие существа лежали и стояли по

очереди. Ноги стоявших были похожи на столбы, врытые в теплую землю, — она ерзала, рыгала, вздыхала. Землей, как ни странно, была мозаика из человеческих тел, угнездившихся друг подле друга, как ложки в ящике.

А потом поезд двинулся на восток.

Где-то на земле было Рождество. В сочельник Билли Пилигрим и бродяга примостились друг к другу, как ложки в ящике, и Билли заснул и поплыл во времени в 1967 год — в ту ночь, когда его похитило летающее блюдце с Тральфамадора.

4

В ночь после свадьбы дочери Билли никак не мог уснуть. Ему было сорок четыре года. Свадьбу отпраздновали днем, в саду у Билли, под ярким полосатым тентом. Полоски были черные и оранжевые.

Билли примостился, как ложка, около своей жены Валенсии на большой двуспальной кровати. Их укачивали «волшебные пальцы». Валенсию не надо было укачивать. Валенсия уже храпела, как двуручная пила. У бедной женщины не было ни матки, ни яичников. Их удалил хирург — один из компаньонов Билли, совладельцев гостиницы «Отдых».

Светила полная луна.

Билли встал с кровати в лунном свете. Он казался себе призрачным и лучезарным, как будто его завернули в прохладный мех, наэлектризованный статическим электричеством. Он взглянул на свои босые ноги. Они были цвета слоновой кости с просинью.

Билли прошлепал по коридору наверх, зная, что его скоро похитит летающее блюдце. Кори-

дор был исполосован лунным светом и тьмой. Свет падал в коридор сквозь открытые двери пустых детских, где жили двое детей Билли, пока не выросли. Они уехали отсюда навсегда. Билли вели страх и бесстрашие. Страх приказывал ему: остановись! Бесстрашие говорило: иди! Он остановился.

Он зашел в комнату дочери. Ящики были выдвинуты. Шкаф стоял пустой. Посреди комнаты были свалены в кучу вещи, которые она не могла взять с собой в свадебное путешествие. У нее был собственный телефонный аппарат «принцесса», он стоял на подоконнике. Он поблескивал навстречу Билли. И вдруг он зазвонил.

Билли ответил. Оттуда послышался пьяный голос. Билли почти что чувствовал запах — горчичный газ и розы. Оказалось — ошибка. Билли повесил трубку. На подоконнике стояла бутылка лимонаду. Этикетка хвастливо заявляла, что в нем нет никаких питательных веществ.

Билли Пилигрим прошлепал вниз босыми ногами цвета слоновой кости с просинью. Он зашел на кухню, где лунный луч высветил полупустую бутылку шампанского на кухонном столе — все, что осталось от пира под тентом. Кто-то заткнул бутылку пробкой. «Выпей меня!» — как будто

говорила бутылка.

Билли вытащил пробку пальцами. Она не хлопнула. Шампанское выдохлось. Такие дела.

Билли взглянул на часы на газовой плите. Надо было как-то убить целый час до прилета блюдца. Он пошел в гостиную, помахивая бутылкой, как звонком, и включил телевизор. Он слегка отключился от времени, просмотрел последний военный фильм, сперва с конца до начала, потом с начала до конца. Это был фильм об американских бомбардировщиках Второй мировой войны и о храбрых летчиках, водивших самолеты. Когда Билли смотрел картину задом наперед, фильм разворачивался таким путем.

Американские самолеты, изрешеченные пулями, с убитыми и ранеными, взлетали задом наперед с английского аэродрома. Над Францией несколько немецких самолетов налетали на них задом наперед, высасывая пули и осколки из некоторых самолетов и из тел летчиков. То же самое они делали с американскими самолетами, разбившимися о землю, и те взлетали задним ходом и примыкали к своим звеньям.

Звенья летели задом над германским городом, охваченным пламенем. Бомбардировщики открывали бомболюки, и словно каким-то чудом

пламя съеживалось, собиралось, собиралось в цилиндрические оболочки бомб, и бомбы втягивались через бомболюки в чрево самолета. Бомбы аккуратно ложились в свои гнезда. Внизу, у немцев, были свои чудо-аппараты в виде длинных стальных труб. Эти трубы высасывали осколки из самолетов и летчиков. Но все же там оставалось несколько раненых американцев, и некоторые самолеты были сильно повреждены. Но тут над Францией появились немецкие истребители и снова всех починили, все стало как новенькое.

Когда бомбы вернулись на базу, стальные цилиндры из гнезд вынимались и отправлялись обратно, в Америку, где заводы работали днем и ночью, разбирая эти цилиндры, превращая их опасную начинку в безобидные минералы. Трогательно было смотреть, сколько женщин участвовало в этой работе. Минералы переправлялись геологам в отдаленные районы. Их делом было снова зарыть в землю и спрятать их как можно хитрее, чтобы они больше никогда никого не увечили.

Американские летчики выскальзывали из своего обмундирования, снова становились школьниками. «А Гитлер, наверно, стал младенцем», — подумал Билли. Но этого в фильме не

было. Билли экстраполировал события назад. «Все превратились в младенцев, и все человечество, без исключения, приложило все биологические усилия, чтобы произвести на свет два совершенства — двух людей, должно быть, Адама и Еву», — думал Билли.

Билли просмотрел военный фильм задом наперед, потом опять с начала до конца, а потом было уже пора идти во двор встречать летающее блюдце. И он вышел, топча иссиня-белыми ногами мокрую, как салат, зелень лужайки. Он остановился, отпил из бутылки глоток выдохшегося шампанского. Вкус был как у микстуры. Он не подымал глаз к небу, хотя знал, что с Тральфамадора уже прилетело блюдце. Скоро он его все равно увидит, и снаружи и внутри, скоро он увидит, откуда оно пришло, скоро, очень скоро.

Над головой послышался звук — словно певуче ухнула сова. Но это вовсе не был певучий крик совы — это летело блюдце с Тральфамадора, летело и во времени, и в пространстве, так что Билли Пилигриму показалось, что оно сразу появилось ниоткуда. Где-то залаяла большая собака.

Блюдце было сто футов в диаметре, с иллюминаторами по борту. Из иллюминаторов шел

пульсирующий алый свет. Послышался звук, похожий на поцелуй, — это открылся герметический люк в дне блюдца. Оттуда зазмеилась лесенка, вся в разноцветных лампочках, как карусель.

Лучевое ружье, наставленное на Билли из иллюминатора, парализовало его волю. Он чувствовал, что необходимо схватиться за нижнюю ступеньку гибкой лестницы. Так он и сделал. Ступенька была наэлектризована, поэтому ладони Билли крепко пристали к ней. Его втащили в люк, механизм закрыл крышку люка. Только тут лестница, навитая на колесо внутри люка, отпустила его. Только тут мозг Билли опять заработал.

Внутри люка были два глазка — и оттуда смотрели чьи-то желтые глаза. На стене висел репродуктор. У тральфамадорцев голосовых связок не было. Они общались между собой телепатически. С Билли они разговаривали при помощи компьютера и какого-то электрического прибора, который умел произносить все землянские слова.

— Приветствуем вас на борту, мистер Пилигрим, — произнес голос из громкоговорителя. — Есть вопросы?

Билли облизнул губы, подумал и наконец спро-

сил:

— Почему именно я?

— Это очень земной вопрос, мистер Пилигрим. Почему *вы*? А почему *мы*? Почему вообще *всё*! Просто потому, что этот миг *таков.* Видели вы когда-нибудь насекомое, застывшее в янтаре?

— Да.

Кстати, у Билли в приемной было пресс-папье — кусок полированного янтаря с застывшими в нем тремя божьими коровками.

— Вот видите, мистер Пилигрим, сейчас и мы застыли в янтаре этого мига, никаких «почему» тут нет.

В атмосферу, окружавшую Билли, ввели снотворное, и Билли заснул. Его перенесли в кабину, где прикрепили ремнями к желтой кушетке, украденной со склада Сирса и Роубека. Багажник летающего блюдца был битком набит краденными вещами для меблировки искусственного жилья Билли в тральфамадорском зоопарке.

От страшного ускорения полета блюдца при выходе из земной атмосферы сонное тело Билли скрутилось, лицо исказилось гримасой, и он выпал из времени и снова вернулся на войну.

Когда он пришел в сознание, он был уже не на летающем блюдце. Он снова очутился в теплушке

и ехал по Германии.

В теплушке одни вставали с пола, другие ложились. Билли тоже собрался лечь. Славно было бы поспать. В вагоне было темным-темно, снаружи — та же темнота.

Вагон, казалось, шел со скоростью не более двух миль в час. Ни разу поезд не ускорил ход. Много времени проходило между одним стыком рельса и другим. Раздавался стук, потом проходил год, и раздавался следующий стук.

Поезд часто останавливался, пропуская действительно важные составы, и те с ревом пролетали мимо. И еще поезд останавливался в тупиках, у тюрем, отцепляя там по нескольку вагонов. Он полз по Германии, становясь все короче и короче.

И Билли опустился на пол осторожно — ох, до чего осторожно! — держась за поперечину на углу стенки, чтобы стать почти что невесомым для тех, кто уже лежал на полу. Он знал, что прежде чем улечься на пол, ему надо по возможности стать бесплотным духом. Он позабыл, зачем это нужно, но ему тут же напомнили.

— Пилигрим, — сказал голос того человека, к которому он хотел было пристроиться, — это ты?

Билли ничего не ответил, очень вежливо улегся

и закрыл глаза.

— А черт тебя дери, — сказал человек. — Ты это или не ты? — Он сел и грубо нашарил Билли руками. — Ты, конечно. Убирайся отсюда ко всем чертям!

Билли тоже сел, он чуть не плакал, бедняга.

— Убирайся! Я спать хочу!

— Заткнись, — сказал кто-то.

— Заткнусь, когда Пилигрим уберется.

И Билли опять встал, вцепился в поперечину.

— А где же мне спать? — спросил он тихо.

— Только не рядом со мной.

— И не со мной, сукин ты сын, — сказал второй голос. — Ты со сна орешь и брыкаешься.

— Правда?

— Правда, черт подери. И стонешь.

— Правда?

— Не лезь сюда, Пилигрим, слышишь?

И тут весь вагон хором стал нещадно поносить Билли. Почти каждый вспоминал всякие мучения, которые ему пришлось терпеть от Билли Пилигрима, когда тот спал рядом. Почти каждый говорил Билли Пилигриму: не лезь сюда, иди ко всем чертям.

И Билли Пилигриму приходилось спать стоя или совсем не спать. И еду перестали подавать

через отдушины, а дни и ночи становились все холоднее и холоднее.

На восьмой день сорокалетний бродяга сказал Билли:

— Ничего, бывает хуже. А я везде приспособлюсь.

— Правда? — спросил Билли.

На девятый день бродяга помер. Такие дела. И последними его словами было:

— Да разве это плохо? Бывает куда хуже.

Что-то было роковое в его смерти на девятый день. И в соседнем вагоне на девятый день появился покойник. Умер Роланд Вири — от гангрены в искалеченных ногах. Такие дела.

Вири бредил не переставая и в бреду все повторял про «трех мушкетеров», говорил, что умрет, давал множество поручений для своей семьи в Питтсбурге. Но больше всего он хотел, чтобы за него отомстили, и без конца повторял имя своего убийцы. Весь вагон отлично запомнил это имя.

— Кто меня убил? — спрашивал Вири.

И все знали ответ. А ответ был: «Билли Пилигрим».

Слушайте: на десятую ночь из дверей вагона, где ехал Билли, вытащили засов, и двери

отворились. Билли боком примостился на поперечнике, словно распяв сам себя, и держался за край отдушины рукой цвета слоновой кости с просинью. Билли закашлялся, когда отворились двери, а когда он кашлял, он испражнялся жидкой кашицей. Это подтверждало третий закон движения материи, согласно теории сэра Исаака Ньютона. Закон гласит, что каждому действию соответствует противодействие, равное по силе и противоположное по направлению.

Этот закон применяется в ракетостроении.

Поезд прибыл в тупик около бараков, служивших ранее лагерем уничтожения русских военнопленных.

Охрана совиными глазами разглядывала внутренность вагона Билли и успокаивающе похмыкивала. До сих пор им никогда не приходилось иметь дел с американцами, но общую характеристику такого груза они, конечно, поняли. Они знали, что содержимое вагона, в сущности, представляет собою вещество в жидком состоянии и что это вещество можно выманить из вагона путем применения света и ободряющих звуков. Стояла темная ночь.

* * *

Единственный свет шел снаружи от одинокой лампочки, подвешенной на высоком столбе, где-то вдали. Вокруг все было тихо, если не считать голосов охраны, ворковавшей, как голуби. И жидкое вещество стало вытекать. Комки образовывались в дверях, шлепались на землю.

Билли показался в дверях предпоследним. Последним был бродяга. Но он вытечь уже не мог. Он перестал быть жидким веществом. Он стал камнем. Такие дела.

Билли не желал падать из вагона на землю. Он искренне был уверен, что он разобьется, как стекло. И охрана, ласково воркуя, помогла ему слезть. Они спустили его лицом к поезду. А поезд теперь стал совсем жалкий.

Он состоял из паровоза, тендера и трех небольших теплушек. Последнюю теплушку — земной рай на колесах — занимала охрана. И снова в этом раю на колесах был накрыт стол. Обед был подан.

У основания столба, на котором висела электрическая лампочка, стояло что-то вроде трех стогов сена. Американцев уговорами и шутками заставили подойти к этим стогам, которые оказались

вовсе не стогами. Это были груды шинелей, снятых с пленных, которые уже умерли. Такие дела.

Охрана твердо решила, что каждый американец без верхней одежды непременно должен взять себе какую-нибудь шинель. А шинели обледенели и смерзлись настолько, что охране пришлось орудовать штыками вместо ломов, и, подцепив торчащий воротник, рукав или полу, они отдирали какую-нибудь из вещей и отдавали ее кому попало. Шинели стояли колом, жесткие и холодные.

Пальто, которое получил Билли, и без того совсем короткое, так съежилось и обледенело, что походило на огромную черную треуголку. Оно все было в клейких пятнах цвета ржавчины или скисшего клубничного варенья. К пальто примерзло что-то вроде дохлого мохнатого зверька. На самом деле это был меховой воротничок.

Билли уныло покосился на шинели своих товарищей. На всех этих шинелях болтались либо медные пуговицы, либо галуны, выпушки или номера, нашивки или орлы, полумесяцы или звезды. Это были солдатские шинели. Один только Билли получил пальтецо с мертвого гражданского лица. Такие дела.

Охрана понукала Билли, чтобы он и все осталь-

ные отошли от своего унылого поезда и прошли к баракам для пленных. Но ничего хорошего там их не ждало — ни тепла, ни признаков жизни, одни только длинные низкие тесные бараки, бесконечные ряды неосвещенных бараков.

Где-то залаяла собака. От эха в зимней тишине лай собаки звучал как удары огромного медного гонга.

Билли и всех остальных заманивали из одних ворот в другие, и Билли впервые увидал русского солдата. Тот стоял один, в темноте — куль лохмотьев с круглым плоским лицом, светившимся, как циферблат на часах.

Билли прошел в каком-нибудь ярде от русского. Их разделяла колючая проволока. Русский ничего не сказал, не помахал рукой. Но заглянул прямо в душу Билли, ласково, с надеждой, словно Билли мог бы сообщить ему какую-то радостную весть, — и хоть он, быть может, эту весть сразу и в толк не возьмет, но все равно, хорошая весть — всегда радость.

Билли совсем осовел, идя через одни ворота за другими, и пришел в себя, только очутившись в здании, похожем, как ему показалось, на что-то тральфамадорское. Оно было ярко освещено и

выложено белым кафелем. Однако здание было земное. Это была дезинфекционная камера, через которую пропускались все пленные.

Билли послушно снял с себя одежду. Кстати, и на Тральфамадоре ему тоже прежде всего приказали раздеться.

Немец указательным и большим пальцами стиснул правую руку Билли у бицепса и спросил своего товарища, какая же это страна посылает таких слабаков на фронт. Потом они посмотрели на тела других американцев и потыкали пальцем в тех, кто был ничуть не лучше Билли.

Но одно из самых крепких тел принадлежало немолодому американцу, учителю гимназии из Индианаполиса. Звали его Эдгар Дарби. Он прибыл не в том вагоне, где находился Билли. Он прибыл в том вагоне, где находился Роланд Вири. Когда тот умирал, Дарби держал на коленях его голову. Такие дела. Дарби было сорок четыре года. Он был в таком возрасте, что у него уже был взрослый сын в морской пехоте, на тихоокеанском театре войны.

Дарби использовал свои связи, чтобы по протекции попасть в армию, несмотря на свой возраст. В Индианаполисе он преподавал предмет под названием «Современные проблемы западной

цивилизации». Кроме того, он был тренером теннисной команды и очень заботился о своем теле.

Сын Дарби вернулся с войны живым и здоровым. А Дарби не вернулся. Его прекрасное тело изрешетили пули: он был расстрелян в Дрездене через шестьдесят восемь дней. Такие дела.

Тело Билли было еще не самым жутким среди американских тел. Самое жуткое тело было у поездного вора из города Цицеро, штат Иллинойс. Звали вора Поль Лаззаро. Он был крошечного роста, и у него не только все кости и все зубы были порченые — у него и кожа была страшная. Лаззаро был весь испещрен рубцами величиной с полпенни. Он страдал ужасающим фурункулезом.

Лаззаро тоже прибыл в вагоне, где лежал Роланд Вири, и он дал Вири честное слово, что как-нибудь да расплатится с Билли Пилигримом за смерть Вири. Сейчас он оглядывался, соображая, какое из этих голых тел и есть Билли.

Голые американцы встали под души у выложенной белым кафелем стены. Кранов для регулировки не было. Они могли только дожидаться — что будет. Их детородные органы сморщились, истощились. В тот вечер продолжение рода человеческого никак не стояло на

повестке дня.

Невидимая рука повернула где-то главный кран. Из душей брызнул кипящий дождь. Дождь походил на огонь паяльной лампы — он не согревал.

Он щекотал и колол кожу Билли, но никак не мог растопить лед в его насквозь промерзшем длинном костяке.

В то же время одежда американцев дезинфицировалась ядовитыми газами. Вши, и бактерии, и блохи дохли миллионами. Такие дела.

А Билли пролетел во времени обратно в детство. Он был младенцем, и его только что выкупала мама. Теперь мама завернула его в простынку и унесла в розовую комнату, полную солнца. Она развернула его на мохнатой простынке, напудрила между ножками, поиграла с ним, похлопала его по мягкому животику. Ее ладонь легко шлепала по мягкому животику.

Билли пускал пузыри и агукал.

А потом Билли снова стал оптиком средних лет — сейчас он играл в гольф в жаркое воскресное утро. Билли уже перестал ходить в церковь.

Он играл в гольф с тремя другими оптометристами. Билли вышел на поле, настала его очередь бить.

Надо было послать мяч на восемь футов, и Билли сыграл удачно. Он наклонился, чтобы взять мяч из лунки, а солнце зашло за облако. У Билли закружилась голова. Когда он очнулся, он уже был не на лугу. Он был привязан к желтой кушетке в белой камере на борту летающего блюдца, которое направлялось на Тральфамадор.

— Где я? — спросил Билли.

— Застыли в другом куске янтаря, мистер Пилигрим. Мы там, где мы и должны сейчас быть — в трехстах миллионах миль от Земли, и направляемся по тому витку времени, который приведет нас на Тральфамадор, но не через века, а через несколько часов.

— Но как — как я попал сюда?

— Это мог бы вам объяснить только другой житель Земли. Земляне — любители все объяснять, они объясняют, почему данное событие сложилось так, а не иначе, они даже рассказывают, как можно было бы отвратить или вызвать какое-нибудь событие. Но я — тральфамадорец и вижу время, как вы видите сразу единую горную цепь Скалистых гор. Время есть *все* время… Оно неизменно. Его нельзя ни объяснить, ни предугадать. Оно просто есть. Рассмотрите его миг за мигом — и вы поймете, что мы просто насекомые

в янтаре.

— По вашим словам выходит, что вы не верите в свободу воли, — сказал Билли Пилигрим.

— Если бы я не потратил столько времени на изучение землян, — сказал тральфамадорец, — я бы понятия не имел, что значит «свобода воли». Я посетил тридцать одну обитаемую планету во Вселенной и я изучил доклады еще о сотне планет. И только на Земле говорят о «свободе воли».

5

Билли Пилигрим говорит, что для существ с планеты Тральфамадор Вселенная вовсе не похожа на множество сверкающих точечек. Эти существа могут видеть, где каждая звезда была и куда она идет, так что для них небо наполнено редкими светящимися макаронинами. И люди для тральфамадорцев вовсе не двуногие существа. Им люди представляются большими тысяченожками, «и детские ножки у них на одном конце, а ноги стариков — на другом». Так объясняет Билли Пилигрим.

По дороге на Тральфамадор Билли попросил дать ему что-нибудь почитать. У его похитителей было пять миллионов земных книг в виде микрофильмов, но в кабине Билли их нельзя было проецировать. У них была одна-единственная английская книга, которую они везли в тральфамадорский музей. Это была «Долина кукол» Жаклин Сюзан.

Билли прочел эту книгу и решил, что местами она довольно интересна. Герои книги, конечно, переживали удачи и неудачи: то удачи, а то

неудачи. Но Билли надоело без конца читать про все эти удачи и неудачи. Он попросил: пожалуйста, нельзя ли достать ему еще какую-нибудь книжку.

— У нас только тральфамадорские романы, но я боюсь, что вы их не поймете, — сказал динамик на стенке.

— Дайте мне хотя бы взглянуть на них.

Ему подали несколько штук. Они были совсем маленькие, понадобилось бы штук двенадцать, чтобы вышла книга толщиной с «Долину кукол» со всеми ее удачами и неудачами: то — удачами, а то — неудачами.

Разумеется, Билли не умел читать по-тральфамадорски, но он хотя бы увидел, как эти книги напечатаны — небольшие группы знаков отделялись звездочками. Билли предположил, что эти группы знаков — телеграммы.

— Точно, — сказал голос.

— Значит, это действительно телеграммы?

— У нас на Тральфамадоре телеграмм нет. Но в одном вы правы: каждая группа знаков содержит краткое и важное сообщение — описание какого-нибудь положения или события. Мы, тральфамадорцы, никогда не читаем их все сразу, подряд. Между этими сообщениями нет

особой связи, кроме того, что автор тщательно отобрал их так, что в совокупности они дают общую картину жизни, прекрасной, неожиданной, глубокой. Там нет ни начала, ни конца, ни напряженности сюжета, ни морали, ни причин, ни следствий. Мы любим в наших книгах главным образом глубину многих чудесных моментов, увиденных сразу, в одно и то же время.

В следующий миг летающее блюдце сделало виток во времени, и Билли был отброшен назад, в детство. Ему было двенадцать лет, и он стоял, трясясь от страха, рядом с отцом и матерью на самом краю Большого каньона — на выступе Брайт Эйнджел. Маленькое человеческое семейство глядело вниз, на дно каньона в милю глубиной.

— М-да-аа, — сказал отец Билли и мужественно метнул в пропасть камешек носком ботинка. — Вот оно как…

Они приехали на это знаменитое место в своей машине. По дороге у них было семь проколов.

— Да, стоило ехать! — восхищенно сказала мать Билли. — И еще как стоило, Боже мой!

Билли с ненавистью смотрел на каньон. Он был уверен, что сейчас упадет туда. Мать слегка задела его, и он намочил штаны.

Другие туристы тоже смотрели вниз, в про-

пасть, а лесник стоял тут же, отвечая на вопросы. Француз, приехавший специально из Франции, спросил, много ли людей кончают тут с собой, прыгая вниз?

— Да, сэр, — ответил лесник, — человека три в год.

Такие дела.

Тут Билли совершил совсем коротенький виток во времени, этакий прыжочек в десять дней, так что ему все еще было двенадцать лет и он все еще путешествовал со своими родителями по Западу. Сейчас они стояли в Карлсбадской пещере, и Билли молил Бога вывести его отсюда, пока не обвалился потолок.

Лесник объяснил, что пещеры открыл один ковбой, который увидел, как огромная стая летучих мышей вылетела из ямы в земле. Потом лесник сказал, что сейчас потушит весь свет и что, наверное, многие из туристов впервые в жизни окажутся в абсолютной темноте.

И свет потух. Билли даже не понимал, жив он или умер. И вдруг какой-то призрак поплыл в воздухе слева от него. На призраке стояли цифры. Это отец Билли достал из кармана свои часы. У часов был светящийся циферблат.

Из полной тьмы Билли попал в полный свет, снова оказался на войне, снова очутился в дезинфекционной камере. Душ кончился. Невидимая рука закрыла воду.

Когда Билли получил обратно свою одежду, она не стала чище, но все мелкие насекомые, жившие там, умерли. Такие дела. А его новое пальто оттаяло и обмякло. Оно было слишком мало для Билли. На пальто был меховой воротничок и красная шелковая подкладка, и сшито оно было, очевидно, на какого-то импресарио ростом не больше мартышки шарманщика. Все оно было изрешечено пулями.

Билли Пилигрим оделся. Он надел и тесное пальтишко. Оно сразу лопнуло на спине, а рукава сразу оторвались у проймы. И пальто превратилось в жилетку с меховым воротничком. По идее оно должно было расширяться у талии, но оно расширялось у Билли под мышками. Никогда еще за всю Вторую мировую войну немцы не видали такого немыслимо смешного зрелища. И они хохотали, хохотали, хохотали вовсю.

Немцы велели всем построиться по пяти в ряд во главе с Билли. И снова всех повели через множество ворот. Навстречу попалось еще несколько голодных русских с лицами, похожими на све-

тящиеся циферблаты. Американцы немного ожили. Возня с горячей водой их подбодрила. Они подошли к бараку, где одноногий и одноглазый капрал записал фамилии и номера всех пленных в большую толстую красную конторскую книгу. Теперь все они были законно признаны живыми. До того, как их имена и номера попали в эту книгу, они считались пропавшими без вести, а может, и убитыми.

Такие дела.

Пока американцы ждали разрешения двинуться дальше, в самом последнем ряду вспыхнула ссора. Один из американцев пробормотал что-то такое, что не понравилось охраннику: охранник понимал по-английски и, выхватив американца из строя, сбил его с ног.

Американец удивился. Он встал шатаясь, плюя кровью. Ему выбили два зуба. Он никого не хотел обидеть своими словами и даже не представлял себе, что охранник его услышит и поймет.

— За что меня? — спросил он охранника.

Охранник втолкнул его в строй.

— Са што тепя? — спросил он по-английски. — Са што тепя? А са што всех труких?

После того как имя Билли записали в толстый

гроссбух лагеря военнопленных, ему выдали номер и железную бирку, на которой был выбит этот номер. Пленный поляк отштамповал эти бирки. Потом он умер. Такие дела.

Билли приказали повесить эту бирку на шею вместе со своими американскими бирками. Он так и сделал. Бирка была похожа на соленый крекер, продырявленный посредине так, чтобы сильный человек мог переломить ее голыми руками. Если Билли помрет, чего не случилось, половина бирки останется на его трупе, а половинку прикрепят над могилой.

Когда беднягу Эдгара Дарби, учителя гимназии, расстреляли в Дрездене, доктор констатировал смерть и переломил его бирку пополам. Такие дела.

Записанных и пронумерованных американцев снова повели через ряд ворот. Пройдет несколько дней, и их семьи узнают через Международный Красный Крест, что они живы.

Рядом с Билли шел маленький Поль Лаззаро, который обещал отомстить за Роланда Вири. Но Лаззаро не думал о мести. Он думал о страшной боли в животе. Желудок у него ссохся, стал не больше грецкого ореха. И этот сморщенный сухой мешочек болел, как нарыв.

За Лаззаро шел несчастный обреченный старый Эдгар Дарби, и американские и немецкие бирки, как ожерелье, украшали его грудь. По своему возрасту и образованию он рассчитывал стать капитаном, командиром роты. А теперь он шел в темень где-то у чехословацкой границы.

— Стой! — скомандовал охранник.

Американцы остановились. Они спокойно стояли на морозе. Бараки, у которых они остановились, снаружи были похожи на тысячи других бараков, мимо которых они проходили. Разница была только в том, что у этого барака были трубы и оттуда летели снопы искр.

Один из охранников постучал в двери.

Двери распахнулись изнутри. Свет вырвался на волю со скоростью ста восьмидесяти шести тысяч миль в секунду. Из барака торжественно вышли пятьдесят немолодых англичан. Они пели хором из оперетты «Пираты Пензанса»: «Ура! Ура! Явились все друзья!»

Эти пятьдесят голосистых певунов были одними из первых англичан, взятых в плен во время Второй мировой войны. Теперь они пели, встречая чуть ли не последних пленных. Четыре года с лишком они не видали ни одной женщины, ни одного ребенка. Они даже птиц не видали. Даже

воробьи в лагерь не залетали.

Все англичане были офицеры. Каждый из них хоть раз пытался бежать из лагеря. И вот они оказались тут — незыблемый островок в мире умирающих русских.

Они могли вести какие угодно подкопы. Все равно они выходили на поверхность в участке, огороженном колючей проволокой, где их встречали ослабевшие, голодные русские, не знавшие ни слова по-английски. Ни пищи, ни полезных сведений у них получить было нельзя. Англичане могли сколько угодно придумывать — как бы им спрятаться в какой-нибудь машине или украсть грузовик. Все равно никакие машины на их участок не заезжали. Они сколько угодно могли притворяться больными, все равно их никуда не отправляли. Единственным госпиталем в лагере служил барак на шесть коек в самом английском блоке.

Англичане были аккуратные, жизнерадостные, очень порядочные и крепкие. Они пели громко и согласно. Все эти годы они пели хором каждый вечер.

Кроме того, англичане все эти годы выжимали гири и делали гимнастику. Животы у них были похожи на стиральные доски. Мускулы на ногах

и плечах походили на пушечные ядра. Кроме того, они все стали мастерами по шахматам и шашкам, по бриджу, крибеджу, домино, анаграммам, шарадам, пинг-понгу и бильярду.

Что же касается запасов еды, то они были самыми богатыми людьми в Европе. Из-за канцелярской ошибки в самом начале войны, когда пленным еще посылали посылки, Красный Крест стал посылать им вместо пятидесяти по пятьсот посылок в месяц. Англичане прятали их так хитро, что теперь, к концу войны, у них скопилось три тонны сахару, тонна кофе, тысяча сто фунтов шоколаду, семьсот фунтов табаку, тысяча семьсот фунтов чаю, две тонны муки, тонна мясных консервов, тысяча сто фунтов масла в консервах, тысяча шестьсот фунтов сыру в консервах, восемьсот фунтов молока в порошке и две тонны апельсинового джема.

Все это они держали в темном помещении. Все помещение было обито расплющенными жестянками из-под консервов, чтобы не забрались крысы.

Немцы их обожали, считая, что они точно такие, какими должны быть англичане. Воевать с такими людьми было шикарно, разумно и интересно. И немцы предоставили англичанам

четыре барака, хотя все они могли поместиться в одном. А в обмен на кофе, или шоколад, или табак немцы давали им краску, и доски, и гвозди, и парусину, чтобы можно было устроиться как следует.

Англичане уже накануне знали, что привезут американских гостей. До сих пор к ним гости не ездили, потому они и взялись за работу, как добрые дяди-волшебники, и стали мести, мыть, варить, печь, делать тюфяки из парусины и соломы, расставлять столы и ставить флажки у каждого места за столом.

И вот они приветствовали гостей песней в зимнюю ночь. От англичан вкусно пахло пиршеством, которое они приготовили. Одеты они были наполовину в военное, наполовину в спортивное платье — для тенниса или крокета. Они были так восхищены своим собственным гостеприимством и пиршеством, ожидающим гостей, что они даже не рассмотрели, кого они встречают хоровым пением. Они вообразили, что поют таким же офицерам, как они сами, прибывшим прямо с фронта.

Они ласково подталкивали американцев к дверям с мужественными шутками и прибаутками. Они называли их «янки», говорили «молодцы,

ребята», обещали, что «Джерри[4] скоро будет драпать».

Билли Пилигрим никак не мог сообразить, кто такой «Джерри».

Билли уже сидел в бараке рядом с докрасна раскаленной железной плитой. На плите кипело с десяток чайников. Некоторые чайники были со свистками. Тут же стоял волшебный котел, полный золотистого супа. Суп был густой. Первобытные пузыри с ленивым величием всплывали со дна перед удивленным взором Билли.

На длинных столах было расставлено угощение. На каждом месте стояла чашка, сделанная из консервной банки из-под порошкового молока. Банка пониже изображала блюдце. Узкая и высокая банка служила бокалом. Бокал был полон теплого молока.

На каждом месте лежала безопасная бритва, губка, пакет лезвий, плитка шоколада, две сигары, кусок мыла, десяток сигарет, коробка спичек, карандаш и свечка.

Только свечи и мыло были германского происхождения. Чем-то и мыло и свечи были похожи — какой-то призрачной прозрачностью.

---

[4] Сноски: 4
Jerry — немец *(англ., сленг).*

Англичане не могли знать, что и свечи и мыло были сделаны из жира уничтоженных евреев, и цыган, и бродяг, и коммунистов, и всяких других врагов фашистского государства.

Такие дела.

Банкетный зал был ярко освещен этими свечами. На столах — груды еще теплого белого хлеба, куски масла, банки варенья. На тарелках — ломти консервированного мяса. Суп, яичница и горячий пирог с повидлом ждали своей очереди.

А в дальнем конце барака Билли увидал розовые арки, с которых спускались небесно-голубые портьеры, и огромные стенные часы, и два золотых трона, и ведро, и половую тряпку. В этих декорациях англичане собирались разыгрывать гвоздь вечера — музыкальную комедию «Золушка» собственного сочинения, на тему одной из самых любимых сказок.

Билли Пилигрим вдруг загорелся — он слишком близко стоял у раскаленной печки. Горела пола его пальтишка. Огонь тлел спокойно, терпеливо, как трут.

А Билли думал: нет ли тут телефона? Хотел позвонить своей маме и сообщить ей, что он жив и здоров.

Стояла тишина: англичане с удивлением смотрели на зловонные существа, которых они, весело пританцовывая, втащили в барак. Один англичанин увидел, что Билли горит.

— Да ты горишь, приятель, — сказал он и, оттянув Билли от печки, стал сбивать огонь руками.

И когда Билли ничего не сказал, англичанин спросил его:

— Вы можете говорить? Вы меня слышите?

Билли кивнул.

Англичанин потрогал его, пощупал и жалобно сказал:

— Бог мой, да что же они с вами сделали? Это же не человек — это же сломанная игрушка!

— А вы и вправду американец? — спросил англичанин, помолчав.

— Да, — сказал Билли.

— А ваше звание?

— Рядовой.

— Где же ваши сапоги, приятель?

— Не помню.

— А пальто для смеху, что ли?

— Сэр?

— Где вы его выкопали?

Билли сначала подумал, потом сказал:

— Выдали мне.

— Джерри вам его выдал?

— Кто?

— Ну, немцы. Выдали вам эту штуку?

— Да.

Билли надоели расспросы. Он от них устал.

— О-о, янк, янк, янк! — сказал англичанин. — Да это же оскорбление!

— Сэр?

— Они нарочно старались вас унизить. Нельзя допускать, чтобы Джерри позволял себе такие выходки.

Но тут Билли Пилигрим потерял сознание.

Билли пришел в себя на стуле, перед сценой. Как-то его накормили, и теперь он смотрел «Золушку». Очевидно, какой-то частью своего сознания Билли восхищался спектаклем. Он громко хохотал.

Женские роли, разумеется, играли мужчины. Часы только что пробили полночь, и Золушка в отчаянии пела басом:

Бьют часы, ядрена мать.

Надо с бала мне бежать!

Этот куплетик показался Билли таким смешным, что он уже не просто хохотал — он визжал от смеха. Он визжал, пока его не вынесли из бара-

ка в другой барак, госпитальный. Госпиталь был на шесть коек. Других больных там не было.

Билли уложили, привязали к постели и сделали ему укол морфия. Другой американец вызвался посидеть около него. Добровольной сиделкой был Эдгар Дарби, школьный учитель, которого потом расстреляли в Дрездене. Такие дела.

Дарби сидел на трехногой табуретке. Ему дали почитать книжку. Это был роман Стивена Крейна «Алый знак доблести». Когда-то Дарби уже читал эту книгу. Теперь он ее перечитывал, пока Билли погружался в морфийный рай.

От морфия Билли видел сон: жирафов в саду. Жирафы шли по усыпанной гравием дорожке, останавливаясь, чтобы пожевать сладкие груши, росшие на ветках деревьев. Билли тоже был жирафом. Он жевал грушу. Груша была твердая. Она не поддавалась его скрежещущим челюстям. Но вдруг раскололась, обиженно истекая соком.

Жирафы признали Билли за своего, за безобидное существо, такое же странное, как они сами. Они окружили его со всех сторон, ласкались к нему. Их длинные подвижные верхние губы вытягивались в трубочку. Они целовали Билли мягкими губами. Это были самочки жирафов — цвета топленых сливок и лимона. У них были

рожки, похожие на дверные ручки. Рожки были совсем как бархатные.

Почему?

Ночь опустилась на сад с жирафами. Билли уже спал без снов, а потом стал путешествовать во времени. Он проснулся, укрытый с головой одеялом, в палате для тихих психических больных в военном госпитале близ Лейк-Плэсида, в штате Нью-Йорк. Была весна 1948 года. Война окончилась три года назад.

Билли высунул голову из-под одеяла. Окна в палате были открыты. Птицы щебетали за окном. «Пьюти-фьют?» — спросила одна из них у Билли. Солнце стояло высоко. В палате было еще двадцать девять больных, но все они гуляли, наслаждаясь хорошей погодой. Они могли свободно уходить и приходить, даже если захотят, уйти совсем домой, — да и Билли Пилигрим тоже. Пришли они сюда добровольно, напуганные внешним миром.

Билли поступил в госпиталь в середине последнего семестра на илиумских курсах оптометрии. Никто и не подозревал, что он свихнулся. Все считали, что он чудесно выглядит и чудесно ведет себя. А он попал в госпиталь. И доктора согласились. Он действительно свихнулся.

Но доктора считали, что война тут ни при чем. Они считали, что Билли расклеился, потому что его отец когда-то бросил его в бассейн ХАМЛ, на глубоком месте, а потом привел его к пропасти у Большого каньона.

Рядом с Билли лежал бывший капитан пехоты по имени Элиот Розуотер. Он лечился от затяжного запоя.

Именно Розуотер пристрастил Билли к научной фантастике, и особенно к сочинениям некоего Килгора Траута. Под кроватью у Розуотера скопилось невероятное количество дешевых изданий научной фантастики. Он привез их в госпиталь в дорожном чемодане. От любимых истрепанных книг шел запах по всей палате — как от фланелевой пижамы, ношенной больше месяца, или от тушеного кролика.

Килгор Траут стал любимым современным писателем Билли, а научная фантастика — единственным жанром литературы, какой он мог читать.

Розуотер был вдвое умнее Билли, но оба они одинаково переживали одинаковый кризис в жизни. Обоим жизнь казалась бессмысленной, отчасти из-за того, что им пришлось пережить на войне. Например, Розуотер нечаянно пристрелил

четырнадцатилетнего парнишку-пожарника, приняв его за немецкого солдата. А Билли видел величайшую бойню в истории Европы — бомбежку города Дрездена. Такие дела.

И теперь они оба пытались преобразовать и себя, и свой мир. И научная фантастика была им большим подспорьем.

Розуотер однажды сказал Билли интересную вещь про книгу, не относящуюся к научной фантастике. Он сказал, что абсолютно все, что надо знать о жизни, есть в книге «Братья Карамазовы» писателя Достоевского.

— Но теперь и этого мало, — сказал Розуотер.

В другой раз Билли услыхал, как Розуотер говорил психиатру:

— По-моему, вам, господа, придется насочинять тьму-тьмущую всякой потрясающей *новой* брехни, иначе людям станет совсем неохота жить.

На столике у Билли лежал целый натюрморт: две пилюли, пепельница с тремя окурками в губной помаде — один из них еще тлел — и стакан с минеральной водой. Вода уже выдохлась. Пузырьки еще пытались вырваться из этой мертвой воды. Некоторые пузырьки прилипли к стенкам — у них не хватало сил подняться кверху.

Сигареты оставила мать Билли, курившая беспрестанно. Она пошла в дамскую уборную, неподалеку от палаты, где лежали девушки из вспомогательных служб армии и флота США, которые малость рехнулись. Каждую минуту мать могла вернуться.

И Билли снова укрылся с головой. Он всегда прятался под одеяло, когда мать приходила навещать его в палате для нервнобольных, а когда она уходила, ему становилось гораздо хуже. И вовсе не потому, что она была какая-нибудь уродина, или от нее плохо пахло, или характер у нее был скверный. Нет, она была совершенно стандартная, милая темноволосая белая женщина с высшим образованием.

Она просто расстраивала Билли, потому что она — его мать. При ней он чувствовал себя неблагодарным, растерянным и беспомощным, потому что она потратила столько сил, чтобы дать ему жизнь, помочь ему в жизни, а Билли эта жизнь вовсе не по душе.

Билли слышал, как Розуотер вошел и лег. Об этом громко рассказали пружины на кровати Розуотера. Розуотер был крупный человек, но какой-то не очень сильный, как будто его слепили наспех из пластилина.

И тут вернулась из дамской уборной мать Билли и уселась на стул между постелями Розуотера и Билли. Розуотер поздоровался с ней ласковым звучным голосом, спросил, как она поживает. Казалось, он весь просиял, услышав, что она поживает хорошо. В виде опыта он старался проявлять самое горячее сочувствие ко всем, кого встречал. Он думал, что от этого жить на свете станет хоть немножко приятнее. Он называл мать Билли «дорогая». В виде опыта он всех называл «дорогими».

— Наступит день, — сказала она Розуотеру, — когда я войду сюда, а Билли снимет одеяло с головы и скажет — знаете что?

— Что же он скажет, дорогая?

— Он скажет: «Здравствуй, мамочка», — и улыбнется. И еще скажет: «Ух, как хорошо, что ты пришла, мамочка. Как же ты живешь?»

— Да, могло бы так быть и сегодня.

— Каждый вечер молюсь за него.

— Как это *прекрасно*!

— Люди, наверно, удивились бы, если б им сказать: как много хорошего случается на свете благодаря молитве.

— Ваша правда, дорогая, ваша правда.

— А ваша матушка часто вас навещает?

— Моя мать умерла, — сказал Розуотер.

Такие дела.

— О, простите!

— По крайней мере она прожила всю жизнь очень счастливо.

— Да, это, конечно, утешение.

— Да.

— Отец у Билли тоже умер, — сказала мать Билли.

Такие дела.

— Мальчику отец *необходим.*

И так без конца шел разговор между наивной женщиной, слепо верящей в силу молитвы, и огромным опустошенным человеком, который на все отзывался, как ласковое эхо.

— Он был первым учеником, когда это с ним случилось, — сказала мать Билли.

— Может быть, он переутомился, — сказал Розуотер.

В руках у него была книга, и ему очень хотелось читать, но из вежливости он не мог одновременно и читать, и разговаривать с матерью Билли, хотя отвечать ей впопад было совсем легко. Книга называлась «Маньяки четвертого измерения» Килгора Траута. Книга описывала психически больных людей, которые не поддавались лече-

нию, потому что причины заболеваний лежали в четвертом измерении и ни один трехмерный врач-землянин никак не мог определить эти причины и даже вообразить их не мог.

Розуотеру очень понравилось одно высказывание Траута: что и вампиры, и оборотни, и ангелы, и домовые действительно существуют, но существуют они в четвертом измерении. К четвертому измерению, как утверждал Траут, принадлежит и Уильям Блейк, любимый поэт Розуотера. И рай и ад — тоже.

— Он обручен с очень-очень богатой девушкой, — сказала мать Билли.

— Это хорошо, — сказал Розуотер. — Деньги иногда могут очень украсить жизнь человека.

— Конечно, могут.

— Да, вот именно, могут.

— Не очень-то весело зажимать в кулаке каждый грош, прямо до судороги.

— Да, всегда хочется жить посвободней.

— Отец девушки — владелец оптометрических курсов, где учится Билли, еще у него шесть врачебных кабинетов в нашем районе. И собственный самолет, и дача на озере Джордж.

— Очень красивое озеро.

Билли уснул под одеялом. Проснулся он снова

в госпитальном бараке, привязанный к больничной койке. Он приоткрыл один глаз и увидел, что бедный старый Эдгар Дарби читает при свече «Алый знак доблести».

Билли прикрыл глаз и увидел в памяти будущего, как бедный старый Эдгар Дарби стоит перед немецким карательным взводом на развалинах Дрездена. В отряде, расстрелявшем Эдгара Дарби, было всего четыре человека. Билли как-то слышал, что обычно одному из взвода дают винтовку с холостым патроном. Но Билли сомневался, что в таком маленьком отряде, да еще в такой долгой войне, кому-то выдадут холостой патрон.

Тут в барак, где лежал Билли, зашел его проведать командир англичан. Он был полковником пехоты и попал в плен еще при Дюнкерке. Это он сделал Билли укол морфия. Настоящего врача в их бараках не было, так что всех лечил этот полковник.

— Ну, как ваш пациент? — спросил он Эдгара Дарби.

— Лежит как мертвый.

— Но на самом деле он не умер?

— Нет.

— Как приятно — ничего не чувствовать и все же считаться живым.

Дарби спохватился и с унылым видом встал «смирно».

— Нет, нет, прошу вас — вольно! Тут на каждого офицера приходится всего двое рядовых, а рядовые при этом все больны, так что, по-моему, мы вполне можем обойтись без обычных церемоний между офицерами и солдатами.

Но Дарби остался стоять.

— Вы с виду старше остальных, — заметил офицер.

Дарби сказал, что ему сорок пять лет, оказалось, что он на два года старше полковника. Полковник сказал, что все американцы уже побрились и только у Билли и у Дарби остались бороды. И он еще сказал:

— Знаете, нам тут приходилось воображать — какая там идет война, и мы считали, что в этой войне сражаются немолодые люди вроде нас с вами. Мы забыли, что войну ведут младенцы. Когда я увидал эти свежевыбритые физиономии, я был потрясен. «Бог ты мой! — подумал я. — Да это же крестовый поход детей!»

Полковник спросил беднягу Дарби, как он попал в плен, и Дарби рассказал, как он сидел в зарослях с сотней других перепуганных насмерть солдат. Бой шел уже пятый день. Эту сотню загна-

ли в заросли танки.

Дарби описывал ту невыносимую атмосферу, которую искусственно создают одни земляне, когда они не хотят оставить других землян жить на Земле. Снаряды со страшным грохотом рвались в верхушках деревьев, рассказывал Дарби, из них сыпались ножи, иглы и бритвы. Маленькие кусочки свинца в медной оболочке шныряли пониже взрывающихся снарядов со скоростью быстрее скорости звука.

И многие люди были ранены или убиты. Такие дела.

Потом обстрел артиллерии прекратился, и скрытый немец с мегафоном велел американцам сложить оружие и выйти из лесу, положив руки на голову, иначе обстрел начнется снова и не прекратится, пока всех не убьют.

И американцы сложили оружие и вышли из лесу, положив руки на голову, потому что им хотелось жить, если была хоть малейшая возможность.

Билли снова пропутешествовал во времени обратно в госпиталь ветеранов войны. Снаружи все было тихо. Он по-прежнему был с головой укрыт одеялом.

— Моя мать ушла? — спросил Билли.

— Да.

Билли выглянул из-под одеяла. У постели на стуле посетителей теперь сидела его невеста. Ее звали Валенсия Мербл. Валенсия была дочерью владельца Илиумских оптометрических курсов. Она была очень богата. Она была огромная, как дом, потому что без конца что-то ела. Она и сейчас ела. И ела она шоколадку «Три мушкетера». На ней были выпуклые очки в пестрой оправе, и вся оправа была усыпана фальшивыми бриллиантиками. К блеску этих камешков примешивался блеск настоящего бриллианта в обручальном кольце. Бриллиант был застрахован на тысячу восемьсот долларов. Билли нашел этот бриллиант в Германии. Это был военный трофей. Билли вовсе не хотел жениться на некрасивой Валенсии. Их обручение было симптомом его заболевания. Он понял, что сходит с ума, когда услыхал, как он сам делает ей предложение, просит ее принять бриллиантовое кольцо и стать спутницей его жизни.

Билли поздоровался с невестой, и она спросила, не хочет ли он конфетку, и он сказал:

— Нет, спасибо.

Она спросила его, как он себя чувствует, и он сказал:

— Спасибо. Гораздо лучше.

Она сказала, что все слушатели оптометрических курсов огорчены его болезнью и надеются, что он вскоре выздоровеет, и Билли сказал:

— Увидишь их, передай им привет.

Она обещала передать им привет.

Она спросила, не может ли она принести ему что-нибудь с воли, и он сказал:

— Нет, у меня есть все, что мне нужно.

— А книжки? — сказала Валенсия.

— У меня тут рядом одна из самых больших частных библиотек в мире, — сказал Билли, намекая на собрание научной фантастики под кроватью Элиота Розуотера.

Розуотер читал, лежа на соседней кровати, и Билли втянул его в разговор, спросив, что он читает.

Розуотер ответил сразу. Он сказал, что читает «Космическое евангелие» Килгора Траута. Это была повесть про пришельца из космоса, кстати, очень похожего на тральфамадорца. Этот пришелец из космоса серьезно изучал христианство, чтобы узнать, почему христиане легко становятся жестокими. Он решил, что виной всему неточность евангельских повествований. Он предполагал, что замысел Евангелия был именно в том, чтобы, кроме всего прочего, учить людей

быть милосердными даже по отношению к ничтожнейшим из ничтожных.

Но на самом деле Евангелие учило вот чему: прежде чем кого-то убить, проверь как следует, нет ли у него влиятельной родни? Такие дела.

Загвоздка во всех рассказах о Христе, говорит пришелец из космоса, в том, что Христос, с виду такой незаметный, на самом деле был Сыном Самого Могущественного Существа во Вселенной. Читатели это понимали так, что, дойдя до описания распятия, они, естественно, думали… Тут Розуотер снова прочел несколько слов вслух:

– О черт, они же собираются линчевать совсем не того, кого надо.

А эта мысль рождала следующую: значит, *есть* те, кого *надо* линчевать. Кто же они? Люди, у которых нет влиятельной родни.

Пришелец из космоса подарил землянам новое Евангелие. В нем Христос действительно был никем и страшно раздражал людей с более влиятельной родней, чем у него. Но он, конечно, и тут говорил все те же чудесные и загадочные слова, какие приводились в прежних евангелиях.

Тогда люди устроили себе развлечение и распяли его на кресте, а крест вкопали в землю.

Никаких откликов это дело не вызовет, думали эти линчеватели. То же самое думал и читатель нового Евангелия, потому что ему все время вдалбливали, что Христос был без роду без племени.

И вдруг, прежде чем сирота скончался, разверзлись небеса, загремел гром, засверкала молния. Глас Божий раскатился над землей. И Бог сказал, что нарекает сироту своим сыном и на веки веков наделяет его всей властью и могуществом Сына Творца Вселенной. И Господь изрек: отныне он покарает страшной карой каждого, кто будет мучить любого бродягу без роду и племени!

Невеста Билли доела шоколадку «Три мушкетера» и теперь жевала конфету «Млечный Путь».

— К черту книжки, — сказал Розуотер, швырнув эту книгу под кровать.

— А книжка, кажется, интересная, — сказала Валенсия.

— О черт, если бы только этот Килгор Траут умел писать! — воскликнул Элиот Розуотер. Розуотер считал, что непопулярность Килгора Траута была вполне заслуженной. Прозу он писал прескверную. Только мысли были хорошие.

— По-моему, он никогда и не выезжал из

Америки, — добавил Розуотер. — Пишет, черт его возьми, про землян вообще, а они у него все — американцы. А фактически чистокровных американцев на земле почти что нет.

— А где он живет? — спросила Валенсия.

— Никто не знает, — ответил Розуотер. — И вообще, насколько я могу судить, я — единственный человек, который о нем слышал. Ни одно издательство не выпускает две его книги подряд. Каждый раз, как я ему пишу на адрес издательства, письмо возвращается, потому что издатель прогорел.

И чтобы переменить тему разговора, он похвалил обручальное кольцо Валенсии.

— Благодарю вас, — сказала она и протянула кольцо Розуотеру, чтобы он как следует рассмотрел камень. — Билли привез его с войны.

— И в войне есть свои приятности, — сказал Розуотер. — Каждый привозит с нее хоть какой-то пустячок.

Кстати, о месте жительства Килгора Траута: на самом деле он жил в Илиуме, родном городе Билли, без друзей, презираемый всеми. Впоследствии Билли с ним познакомился.

— Билли… — сказала Валенсия Мербл.

— М-мм?

— Давай посоветуемся, какое столовое серебро нам выбрать?

— Пожалуйста.

— Я остановилась на двух образцах: либо «Датский король», либо «Штокроза».

— «Штокроза», — сказал Билли.

— Собственно говоря, *спешить* не стоит, — сказала она. — Понимаешь, что бы мы ни выбрали, нам всю жизнь с этим жить.

Билли еще раз посмотрел картинки.

— Ну, «Датский король», — сказал он наконец.

— «Лунный свет» тоже очень мило.

— Мило, — согласился Билли.

И Билли пропутешествовал во времени на Тральфамадор. Ему было сорок четыре года, и он был выставлен напоказ под прозрачным куполом. Он полулежал на кушетке, служившей ему люлькой при полете в космос. Он был голый. Тральфамадорцев интересовало его тело — все, целиком. Тысячи жителей Тральфамадора стояли вокруг купола, подняв ладоши, чтобы их глазки видели Билли. Билли уже пробыл на Тральфамадоре шесть земных месяцев. Он привык к толпе.

О том, чтобы убежать, и речи не было. Атмосфера вне купола была чистейшей синильной

кислотой, а Земля находилась на расстоянии 446 120 000 000 000 000 миль.

Билли был выставлен в зоопарке, в искусственном земном жилище. Большая часть мебели была украдена со складов Сирса и Роубека в Айове. Там был цветной телевизор и диван-кровать. У кушетки стояли столики с лампами и пепельницами. Был там и стенной бар, и к нему две табуретки. И маленький бильярд. Везде, кроме кухни, ванной и железной крышки над люком в центре комнаты, пол был устлан золотистым ковром. На низеньком столике перед диваном веером лежали журналы.

Был там и стереофонический проигрыватель. Проигрыватель работал. А телевизор — нет. На экране была прилеплена картинка — один ковбой убивает другого. Такие дела.

Стен у купола не было, и спрятаться было некуда. Умывальные и туалетные принадлежности светло-зеленого цвета стояли прямо на виду. Билли встал со своей кушетки, пошел в туалет и помочился. Толпа пришла в дикий восторг.

Билли вычистил зубы на Тральфамадоре, вставил зубной протез и пошел на свою кухню. Плита на баллонном газе, холодильник и мойка для посуды тоже были бледно-зеленого цвета. На

дверцах холодильника была нарисована картинка. Это так и полагалось. На картинке была изображена парочка из веселых девяностых годов, на двойном велосипеде.

Билли поглядел на картинку, попытался что-нибудь придумать об этой парочке. Но мысли не приходили. Об этих двух людях думать было *абсолютно нечего.*

Билли позавтракал всякими консервами. Он вымыл чашку, и тарелку, и ножик, и вилку, и ложку, и кастрюльку и убрал их в шкаф. Потом он стал делать гимнастику, как его учили в армии, — прыжки, наклоны, приседания и повороты. Большинство тральфамадорцев не знало, что у Билли некрасивое лицо и некрасивое тело. Они считали его великолепным экземпляром. Это очень благотворно влияло на Билли, и впервые в жизни он радовался своему телу.

После гимнастики он принял душ, подстриг ногти на ногах. Он побрился и побрызгал деодорантом под мышками, в то время как экскурсовод зоопарка, стоя извне на высокой эстраде, объяснял, что Билли делает и зачем. Экскурсовод читал лекцию телепатически, он просто стоял и посылал мысленные волны в публику. На эстраде около него стоял маленький передатчик с клави-

шами, по которому он передавал Билли вопросы из публики.

Прозвучал первый вопрос — его передал репродуктор на телевизоре:

— Вам тут хорошо?

— Не хуже, чем на Земле, — сказал Билли Пилигрим, и это была правда.

Жители Тральфамадора были пятиполые, и каждый пол вносил свою лепту в создание новой особи. Для Билли они все выглядели одинаково, потому что каждый пол отличался от другого только в четвертом измерении.

Одной из самых взрывчатых идей, преподнесенных Билли тральфамадорцами, было их открытие, касающееся вопросов пола на Земле. Они сказали, что команды их летающих блюдец обнаружили не меньше семи различных полов на Земле, и все они были необходимы для продолжения человеческого рода. И опять-таки Билли даже представить себе не мог, что же это еще за пять из семи половых групп и какое отношение они имеют к деторождению, тем более что действовали они только в четвертом измерении.

Тральфамадорцы старались подсказать Билли, как ему представить себе секс в невидимом для него измерении. Они сказали, что ни один

земной житель не может родиться, если не будет гомосексуалистов. А без лесбиянок дети вполне могли появляться на свет. Без женщин старше шестидесяти пяти лет дети рождаться не могли. А без мужчин того же возраста могли. Не могло быть новых детей без тех младенцев, которые прожили после рождения час или меньше. И так далее.

Для Билли все это было сплошным бредом.

Но многое, что говорил Билли, было бредом для тральфамадорцев. Они не могли понять, как он воспринимает время. Билли бросил всякие попытки объяснить им это.

Пришлось экскурсоводу зоопарка своими силами взяться за объяснение.

И экскурсовод предложил слушателям вообразить, что они глядят через пустыню на горную цепь в озаренный солнцем ясный день. Они могут смотреть на вершину горы, на птицу или на облако, на скалу перед ними или даже на дно пропасти позади себя. Но среди них находится несчастный этот землянин, и голова его заключена в стальной шар, который он не может снять. И в этом шаре есть один-единственный глазок, через который он может глядеть, да еще к этому глазку приварена шестифутовая трубка.

И это было только предварительное метафорическое описание всех бед Билли. Будто бы он еще был привязан к стальной решетке, привинченной к платформе на рельсах, и никак не мог повернуть голову или сдвинуть трубку. Дальний конец трубки лежал на треноге, тоже привинченной к платформе. Билли только мог видеть крошечный просвет в конце трубки. Он не знал, что привязан к платформе, и даже не понимал, в каком странном положении он находится.

А платформа то ползла очень медленно, то неслась по рельсам, подымалась в гору, катилась вниз, заворачивала, ехала напрямик. И только про то, что бедный Билли видел сквозь дырочку в трубке, он и мог говорить: «Это жизнь».

Билли ожидал, что тральфамадорцы будут удивляться и возмущаться войнами и другими способами убийства на Земле. Он ожидал, что они будут бояться, как бы земляне с их жестокостью и мощным вооружением не разрушили часть, а может быть, и всю ни в чем не повинную Вселенную. Эти мысли ему подсказала научная фантастика.

Но никаких разговоров о войне не было, пока Билли сам об этом не заговорил. Кто-то из толпы зрителей в зоопарке спросил Билли че-

рез экскурсовода, что самое ценное узнал он на Тральфамадоре. И Билли ответил:

— Узнал, что жители целой планеты могут жить в мире. Как вам известно, я — с той планеты, где с незапамятных времен идет бессмысленная бойня. Я сам видел тела школьниц, сожженных заживо в водонапорной башне моими же соотечественниками, которые в то время гордились своей борьбой с воплощением зла. — И это была чистая правда. Билли видел сожженные тела в Дрездене. — И я по вечерам проходил по тюрьме со свечой, сделанной из жира человеческих существ, убитых отцами и братьями тех сожженных заживо школьниц. Наверно, вся Вселенная с ужасом смотрит на землян! И если другим планетам Земля пока еще не угрожает, то скоро эта угроза может появиться. Так что откройте мне вашу тайну, и я отнесу ее на Землю и спасу нас всех. Как планета может жить в мире?

Билли чувствовал, что говорит возвышенно. Он растерялся, когда увидел, что тральфамадорцы сжали свои ручки в кулак, закрывая глазки. Ему уже было известно значение этого жеста: видно, он опять наговорил глупостей.

— Вы… Вы не можете мне объяснить, — упавшим голосом спросил Билли, — что я такого

глупого сказал?

— А мы ведь знаем, как погибнет Вселенная, — сказал экскурсовод, — и Земля тут совершенно ни при чем, хотя и она погибнет.

— А как — а как же погибнет Вселенная? — спросил Билли.

— Мы ее взорвем, испытывая новое горючее для наших летающих блюдец. Летчик-испытатель на Тральфамадоре нажмет кнопку — и вся Вселенная исчезнет. Такие дела.

— Но если вам это заранее известно, — сказал Билли, — то разве нет способа предупредить катастрофу? Неужели вы не можете помешать летчику нажать кнопку?

— Он ее всегда нажимал и всегда будет нажимать. Мы всегда даем ему нажать кнопку, и всегда так будет. Такова структура данного момента.

— Но тогда… — Билли замялся, — значит, тогда глупо думать, что можно предупредить войны на Земле?

— Конечно.

— Но у вас-то на планете мир?

— Сегодня — да. А в другое время у нас идут войны страшнее всего, что вы видели, о чем читали. И сделать мы тут ничего не можем, так что мы просто на них не смотрим. Мы не обращаем

на них внимания. Мы их игнорируем. Мы проводим вечность, созерцая только приятное — вот как сегодня, в зоопарке. Правда, сейчас все так приятно?

— Да.

— Вот этому земляне могли бы научиться у нас, если бы постарались. Не обращать внимания на плохое и сосредоточиваться на хороших минутах.

— Гм, — сказал Билли.

Этой ночью, как только Билли заснул, он попутешествовал во времени к довольно приятному моменту — это была первая брачная ночь с Валенсией, урожденной Мербл. Уже с полгода, как он выписался из военного госпиталя. Он совсем выздоровел. И он окончил Илиумские оптометрические курсы — третьим из сорока семи учащихся своего выпуска.

И теперь он лежал в постели с Валенсией в очаровательном домике, стоящем на Кейп-Анн, в Массачусетсе, у самой оконечности мыса. На другом берегу блестели огоньки Глостера. Билли лежал с Валенсией, обнимая ее. В результате этого объятия родился Роберт Пилигрим — впоследствии он доставит массу огорчений в школе, но потом выправится и станет одним из знаме-

нитых «зеленых беретов».

Валенсия не умела путешествовать во времени, но воображение у нее здорово работало. Пока Билли обнимал ее, она воображала себя знаменитой исторической личностью. Она была королевой Елизаветой I, а Билли как будто был Христофором Колумбом.

Билли издал стон, похожий на скрип заржавленной дверной петли. Его семенные железы только что отдали семя Валенсии, внеся свою лепту в создание «зеленого берета». Правда, по тральфамадорским понятиям, у «зеленого берета» в общем и целом было семь родителей.

Теперь Билли откатился от своей огромной супруги, чья блаженная улыбка не погасла, когда он ее покинул. Он лежал, упираясь позвоночником в край тюфяка и заложив руки за голову. Теперь он был богатый человек. Он был вознагражден за то, что женился на девице, на которой никто в здравом уме жениться бы не стал. Тесть подарил ему новый «бьюик», сплошь электрифицированную квартиру и назначил заведующим самого процветающего кабинета в Илиуме, где Билли мог надеяться заработать по меньшей мере тридцать тысяч долларов в год. Это было хорошо. Отец Билли был всего лишь парикмахером.

Как сказала его мать: «Пилигримы пошли в гору».

Медовый месяц они проводили в горько-сладкой и таинственной осени Новой Англии. В домике новобрачных одна стена была особенно романтичной — целиком застекленная, она выходила на балкон над маслянистой водой залива.

Зеленая с оранжевым баржа, чернея в темноте, ворча и скрипя, прошла под их балконом, всего футах в тридцати от их брачного ложа. Баржа уходила в море, притушив огни. Пустые трюмы резонировали, и машины отзывались густым, звучным басом. На их голос откликнулась вся гавань, и эхом зазвенело изголовье кровати новобрачных. И звенело еще долго, когда баржа уже ушла.

— Спасибо, — сказала наконец Валенсия. Изголовье кровати звенело комариным писком.

— На здоровье.

— Мне так хорошо.

— Очень рад.

И тут она заплакала.

— Что с тобой?

— Я так счастлива.

— Прекрасно.

— Никогда не думала, что кто-нибудь на мне женится.

— Гм-мм, — сказал Билли Пилигрим.

— Буду ради тебя худеть, — сказала она.

— Что?

— Начну соблюдать диету. Хочу стать красивой — для тебя.

— А ты мне и так нравишься.

— Правда?

— Правда, — сказал Билли Пилигрим. Благодаря путешествию во времени он уже видел, каким будет их брак, и знал, что их жизнь будет вполне сносной.

Громадная моторная яхта под названием «Шехерезада» скользила мимо их брачного ложа. Ее машины пели мелодично, как орган. Все огни горели.

Двое красивых людей, юноша и девушка в вечернем платье, стояли на корме у поручней, радуясь своей любви, своим мечтам и бегу волны. Они тоже совершали свадебное путешествие. Его звали Лэнс Рэмфорд из Ньюпорта, Род-Айленд, а в его молодую жену, урожденную Синтию Лэндри, был в детстве влюблен Джон Ф. Кеннеди, живший тогда в Хайаннисе, штат Массачусетс.

Получилось некоторое совпадение: Билли Пилигрим впоследствии оказался в одной палате с дядюшкой Рэмфорда, профессором Бертрамом Коуплендом Рэмфордом, официальным историком Военно-воздушных сил США.

Когда красивая пара проплыла мимо, Валенсия стала расспрашивать своего нескладного мужа про войну. Это была обычная глупая привычка жительницы Земли — ассоциировать секс и страсть с войной.

— Ты когда-нибудь вспоминаешь о войне? — спросила она, кладя руку на бедро Билли.

— Иногда, — сказал Билли Пилигрим.

— А я иногда смотрю на тебя, — сказала Валенсия, — и у меня странное чувство, как будто у тебя много-много тайн.

— Вовсе нет, — сказал Билли. Он, конечно, соврал. Он никому не рассказывал о путешествии во времени, о Тральфамадоре и так далее.

— Нет, у тебя, наверно, есть тайны про войну. А может быть, и не тайны, а просто то, о чем тебе не хочется говорить.

— Нет.

— Я горжусь, что ты был солдатом. Ты это знаешь?

— Прекрасно.

— Плохо там было?

— Всякое бывало. — У Билли мелькнула дикая мысль: как это верно! Хорошая была бы эпитафия для Билли Пилигрима. И для меня тоже.



— А ты расскажешь о войне, если я тебя попрошу? — сказала Валенсия. В крохотной ячейке ее огромного тела уже собирался материал для создания «зеленого берета».

— Будет похоже на сон, — сказал Билли. — А чужие сны обычно слушать не очень интересно.

— Я слышала, как ты рассказывал папе, как немцы кого-то расстреляли, — сказала Валенсия. Она говорила о расстреле бедного старого Эдгара Дарби.

— Угу.

— И тебе пришлось его хоронить?

— Да.

— А он видел вас с лопатами перед тем, как его расстреляли?

— Да.

— А он что-нибудь сказал?

— Нет.

— Он боялся?

— Нет, они его чем-то напоили. Глаза у него как-то остекленели.

— А они прилепили к нему мишень?

— Да, кусок бумаги, — сказал Билли. Он встал с постели, сказал «извини, пожалуйста» и пошел в темную уборную помочиться. Нащупывая выключатель, он почувствовал шероховатую стенку и понял, что пропутешествовал обратно, в 1944 год, и снова очутился в лагерном лазарете.

Свеча в лазарете потухла. Бедный старый Эдгар Дарби уснул на соседней койке. Билли встал с койки, шаря в темноте по стенке, чтобы найти выход, потому что ему ужасно нужно было в уборную.

Он вдруг нащупал дверь, она открылась, и он, шатаясь, вышел в лагерную ночь. Билли обалдел от морфия и путешествий во времени. Он помо-

чился у колючей проволоки, и она впилась в него десятками колючек. Билли пытался выпутаться, но колючки не отпускали его. По-дурацки приплясывая, Билли без толку вертелся у проволоки, дергая ее во все стороны.

Русский солдат, тоже вышедший ночью оправиться, увидел по ту сторону проволоки дергающегося Билли. Он подошел к этому странному пугалу, попробовал ласково заговорить с ним, спросить, из какой оно страны. Но пугало не обращало внимания и только прыгало у проволоки. И русский солдат выпростал колючки одну за другой, и пугало запрыгало куда-то во тьму, не поблагодарив ни единым словом.

А русский помахал ему вслед рукой и крикнул по-русски:

— Счастливо!

Билли снова расстегнул штаны и в темноте лагерной ночи стал без конца орошать землю. Потом застегнулся как попало и стал соображать, откуда же он вышел и куда ему сейчас идти?

Где-то в темноте раздавались горькие стоны. Не зная, что делать, Билли прошаркал в том направлении. Он подумал: какая трагедия заставляет стольких людей так громко стонать где-то на дворе?

Сам того не зная, Билли подходил к задней стенке нужника. Нужник состоял из перекладины с двенадцатью ведрами под ней. С трех сторон перекладина была закрыта стенками из обломков фанеры и расплющенных консервных банок. Открытая сторона выходила на черную, обшитую толем стенку барака, где был устроен банкет.

Билли пошел вдоль стенки и дошел до того места, где на черном толе было только что написано объявление. Краска была еще свежая — та самая розовая краска, которой были расписаны декорации к «Золушке». Билли с таким трудом разбирался в окружающем, что ему показалось, будто бы слова висели в воздухе, словно нарисованные на прозрачном занавесе. И еще на занавесе были какие-то очень хорошенькие серебряные кружочки. На самом деле это были гвозди, которыми толь был прибит к стенке барака. Билли никак не мог себе представить, каким образом занавес держался ни на чем, и он решил, что и волшебный занавес, и театральные стены были частью какой-то религиозной церемонии, о которой он никогда не слыхал.

Вот что было написано на объявлении:

ПРОСЬБА

СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ

И НЕ ОСТАВЛЯТЬ ПОСЛЕ СЕБЯ БЕСПОРЯДКА

Билли заглянул в нужник. Стоны шли именно оттуда. Все места были заняты американцами. Пышная встреча превратила их желудки в вулканы. Все ведра были переполнены или опрокинуты.

Один из американцев поближе к Билли простонал, что из него вылетели все внутренности, кроме мозгов. Через миг он простонал:

— Ох, и они выходят, и они.

«Они» были его мозги.

Это был я. Лично я. Автор этой книги.

Шатаясь, Билли выбрался из этого ада. Он прошел мимо трех англичан, издали глядевших на этот экскрементальный фестиваль. Они окаменели от омерзения.

— Застегнитесь как следует, — сказал один из них, когда Билли проходил мимо.

И Билли застегнул брюки. Он случайно нашел вход в больничный барак. Войдя в дверь, он снова очутился в свадебном путешествии и возвращался из ванной комнаты в постель к своей жене.

— Мне без тебя скучно, — сказала Валенсия.

— А мне без тебя, — сказал Билли.

Билли и Валенсия уснули, примостившись друг к другу, как ложки, и Билли пропутешествовал во времени назад, в 1944 год, в ту поездку, когда он уехал с маневров в Южной Каролине на похороны отца в Илиум. Он еще не участвовал в войне в Европе. Это было еще в те времена, когда ходили паровозы.

Билли приходилось много раз пересаживаться с поезда на поезд. Шли поезда ужасно медленно. В вагонах воняло угольным дымом, и пайковым табаком, и газами людей, сидевших на военных пайках. Металлические диваны были обиты колючей материей, и Билли никак не мог выспаться. Перед самым Илиумом, когда ехать оставалось часа три, он вдруг крепко заснул, раскинув ноги, у входа в вагон-ресторан.

Проводник разбудил его, когда поезд пришел в Илиум. Билли вышел, пошатываясь под тяжестью вещевого мешка, и очутился на платформе рядом с проводником, стараясь стряхнуть сон.

— Что, выспался? — спросил проводник.

— Да, — сказал Билли.

— Ну, братец, — сказал проводник, — видно было, *что* тебе снилось…

В три часа ночи в больничный барак, где лежал Билли, двое дюжих англичан внесли нового пациента. Он был крошечного роста.

Это был Поль Лаззаро, прыщавый вор из города Цицеро, штат Иллинойс. Его поймали, когда он воровал сигареты из-под подушки у одного англичанина. Англичанин со сна сломал Лаззаро правую руку и едва не вышиб из него дух.

Этот самый англичанин и помогал нести его. Он был огненно-рыжий, совершенно безбровый. В оперетте он играл Голубую Фею — крестную Золушки. Сейчас он одной рукой поддерживал Лаззаро с одного конца, а другой закрывал двери.

— Весу в нем, как в цыпленке, — сказал он.

Англичанин, державший Лаззаро за ноги, был тот самый полковник, который сделал Билли укол морфия.

«Голубая Фея» был ужасно смущен, хотя и очень зол.

— Если бы я знал, что дерусь с цыпленком, я бил бы полегче, — сказал он.

— Угу.

«Голубая Фея» не стал скрывать свое отвращение к американцам.

— Слабые, вонючие, себя жалеют — ну просто сопливое, грязное, гнусное ворье, — сказал он. —

Куда хуже этих русских, черт подери.

— Да, погань порядочная, — согласился полковник.

Тут вошел немецкий майор. Он считал англичан своими лучшими друзьями. Почти ежедневно он заходил к ним, играл с ними во всякие игры, читал им лекции по истории Германии, играл у них на рояле, учил их говорить по-немецки. Он часто говорил им, что, если бы не их высокоцивилизованное общество, он давно сошел бы с ума. По-английски он говорил блестяще.

Он очень извинялся, что пришлось англичанам навязать американских рядовых. Он обещал, что больше двух-трех дней им не придется терпеть такое неудобство и что американцев скоро отправят в Дрезден на принудительные работы. У него с собой была монография, выпущенная Всегерманским объединением служителей мест заключения. Это был доклад о поведении американских рядовых, попавших в плен в Германии. Автор книги, бывший американец, занимал видное место в германском министерстве пропаганды. Звали его Говард У. Кэмбл-младший. Впоследствии он повесился в тюремной камере, ожидая суда как военный преступник.

Такие дела.

Пока английский полковник вправлял руку Лаззаро и готовил гипсовую повязку, немецкий майор переводил вслух длинные отрывки из монографии Говарда У. Кэмбла. Когда-то Кэмбл был довольно преуспевающим драматургом. Начиналась монография так:

Америка — богатейшая страна мира, но народ Америки по большей части беден, и бедных американцев учат ненавидеть себя за это. По словам американского юмориста Кина Хаббарда, «бедность не позор, но большое свинство». Фактически для американца быть бедным — преступление, хотя вся Америка, в сущности, нация нищих. У всех других народов есть народные предания о людях очень бедных, но необычайно мудрых и благородных, а потому и больше заслуживающих уважения, чем власть имущие и богачи. Никаких таких легенд нищие американцы не знают. Они издеваются над собой и превозносят тех, кто больше преуспел в жизни. В самом захудалом кабаке или ресторанчике, где сам хозяин тоже бедняк, часто можно увидеть на стене плакат с таким злым, жестоким вопросом: «Раз ты такой умный, где же твои денежки?» Там же всегда найдется американский флажок, не шире детской ладони, его приклеивают к палочке от

эскимо и втыкают около кассы.

Ходили слухи, что автор монографии, уроженец города Шенектеди, штат Нью-Йорк, был самым одаренным из всех военных преступников, которых приговорили к повешению. Такие дела.

Американцы, как и все люди во всех странах, — говорилось дальше в монографии, — *верят во множество явно ложных идей. Самая большая ложь, в которую они верят, это то, что каждому американцу очень легко разбогатеть. Они никак не хотят признать, что деньги достаются с великим трудом, и потому те, у кого нет денег, без конца клянут и клянут самих себя. И это их внутреннее недовольство самими собой всегда было счастьем для власть имущих и богачей, так как они могли оказывать меньше помощи своим беднякам как частным, так и государственным путем, чем любой правящий класс примерно со времен Наполеона.*

Много нового дала миру Америка. Самое поразительное, беспрецедентное явление — это огромное количество бедняков без чувства собственного достоинства. Они не любят друг друга, потому что не любят себя. И стоит только уяснить это, как недостойное поведение американских рядовых в немецких тюрьмах ста-

новится вполне понятным.

Говард У. Кэмбл-младший затем переходил к вопросу обмундирования американских солдат во Второй мировой войне:

Любая другая армия в истории, богатая или бедная, всегда старалась обмундировать своих солдат, даже нижние чины, так, чтобы они и другим, и самим себе казались молодцами во всем, что касалось выпивки, женщин, грабежей и внезапных встреч со смертью. Напротив, американская армия посылает своих рядовых сражаться и гибнуть в чем-то вроде городского платья, явно сшитого не по росту и присланного в продезинфицированном, но неглаженом виде какими-то благотворительными учреждениями, где обычно, зажав нос, раздают одежду пьяницам из трущоб.

И когда одетый с иголочки офицер обращается к выряженному таким образом чучелу, он отчитывает его, как и полагается офицеру любой армии. Но презрительный тон офицера — не напускная строгость доброго дядюшки, как в других армиях. Это искреннее выражение ненависти к беднякам, которые сами, и только сами, виноваты в своей нищете.

Тюремную администрацию, имеющую дело с пленными солдатами американской армии, надо предостеречь: не ищите у них братской любви даже между родными братьями. Никакого контакта между отдельными личностями тут ожидать не приходится. Каждый из них будет вести себя как капризный ребенок и думать, что лучше бы ему умереть.

Кэмбл рассказывал о поведении американских солдат в немецком плену. Везде американцев считали самыми большими нытиками, самыми недружелюбными, самыми грязными из всех военнопленных, писал Кэмбл. Они презирали любого из своей среды, кого бы ни назначили старшим, отказывались подчиняться ему по той причине, что он ничуть не лучше их и пусть не задается.

Ну и так далее. Билли Пилигрим уснул и проснулся вдовцом в своем опустевшем доме в Илиуме. Его дочь Барбара попрекала его за то, что он писал нелепые письма в газеты.

— Ты слышал, что я сказала? — спросила Барбара. Был опять 1968 год.

— Конечно. — Но он дремал.

— Если ты будешь вести себя как ребенок, нам

и обращаться с тобой придется как с маленьким.

— Нет, дальше все будет по-другому.

– *Посмотрим,* что будет дальше. — Толстая Барбара обхватила себя руками. — Тут страшный холод. Тепло идет?

– *Тепло*?

— Ну, отопление, эта штука в подвале, та, что гонит теплый воздух сюда в батареи. По-моему, она не работает.

— Все возможно.

— Разве тебе не холодно?

— Как-то не заметил.

— О Боже, ты и вправду *ребенок.* Оставить тебя одного, так ты замерзнешь насмерть, умрешь с голоду. — И так далее. Из любви к нему она с удовольствием подрывала его чувство собственного достоинства.

Барбара позвала истопника и уложила Билли в постель, взяв с него слово, что он пролежит под электрическим одеялом, пока не пустят отопление. Она включила грелку в одеяле на самую высокую температуру, и постель Билли вскоре нагрелась так, что хоть пеки в ней хлеб.

Когда Барбара ушла, хлопнув дверью, Билли пропутешествовал во времени назад, в тральфамадорский зоопарк. Ему только что доставили

с Земли самочку. Это была Монтана Уайлдбек, кинозвезда.

Монтану усыпили. Тральфамадорцы в противогазах внесли ее, положили на желтую кушетку Билли и вышли через люк. Огромная толпа зрителей пришла в восторг. Никогда еще в зоопарке не бывало столько посетителей. Вся планета желала посмотреть, как будут спариваться земляне.

На Монтане ничего не было, и на Билли, конечно, тоже. Кстати, он был мужчина что надо. Никогда не знаешь, кто чего стоит.

Наконец ее веки затрепетали. Ресницы у нее были длинные, как хлысты.

— Где я? — спросила она.

— Все в порядке, — ласково сказал Билли. — Пожалуйста, не пугайтесь.

Пока Монтану везли с Земли, она была без сознания. Тральфамадорцы с ней не разговаривали и ей не показывались. Последнее, что она помнила, был бассейн в Палм-Спрингс, в Калифорнии, где она загорала. Монтане было всего двадцать лет. На шее у нее висело серебряное сердечко на цепочке, оно спускалось между грудями.

Тут она повернула голову и увидала мириады тральфамадорцев вокруг их купола. Они приветствовали ее, быстро открывая и закрывая свои

зеленые ручки.

И Монтана завизжала. Она визжала не умолкая.

Все зеленые ручки сразу закрылись, потому что очень неприятно было видеть страх Монтаны. Главный хранитель зоопарка велел крановщику, стоявшему наготове, опустить темно-синий полог на купол, симулируя земную ночь внутри. Настоящая ночь спускалась на зоопарк только на один земной час из шестидесяти двух.

Билли зажег торшер. Единственный источник света резко очертил детали тела Монтаны. Оно напоминало Билли фантастическую архитектуру барокко, которую он видел в Дрездене до бомбежки.

Со временем Монтана полюбила Билли, доверилась ему. Он ее не трогал, пока она сама не дала ему понять, что она этого хочет.

Пробыв на Тральфамадоре по земным понятиям неделю, она робко спросила Билли, не хочет ли он обнять ее, что он и сделал. Это было упоительно.

И снова Билли пропутешествовал во времени из той дивной постели в 1968 год. Он лежал в своей постели в Илиуме, и электрическое одеяло

грело изо всех сил. Он был весь в поту и смутно помнил, что дочь уложила его в постель и велела не вставать, пока не исправят отопление.

Кто-то постучал в дверь его спальни.

— Да? — сказал Билли.

— Я истопник.

— Да?

— Работает отлично. Тепло пошло хорошо.

— Прекрасно.

— Мышь прогрызла изоляцию провода в термостате.

— Да ну? Вот чертовщина!

Билли блаженно потянулся. От постели шел спертый запах, как из подвала с шампиньонами. Ему приснилась ночь с Монтаной Уайлдбек.

Утром, после соблазнительного сна, Билли решил вернуться в свою приемную в центре города. Его ассистенты неплохо поработали и без него. Они удивились, когда он приехал. Его дочь сказала им, что Билли вряд ли вернется к практике.

Но Билли решительно вошел в свой кабинет и велел позвать очередного пациента. К нему впустили двенадцатилетнего мальчика с матерью-вдовой. Они недавно приехали в город, никого тут не знали. Билли расспросил про их жизнь, узнал, что отец мальчика был убит во

Вьетнаме в знаменитом пятидневном сражении на высоте 875 при Дакто. Такие дела.

Пока Билли проверял зрение мальчика, он мимоходом рассказал ему про свои приключения на Тральфамадоре и уверил осиротевшего мальчика, что отец его живет в какие-то моменты и мальчик тогда его видит.

— Разве это не утешительно? — спросил его Билли.

А в это время мать мальчика вышла в приемную и сказала секретарше, что Билли явно сошел с ума. За Билли приехали и отвезли его домой. И дочь снова спросила его:

— Папа, папа, папа, ну что же нам с тобой делать?

6

Послушайте.

Билли Пилигрим говорит, что он попал в немецкий город Дрезден на следующий день после того, как ему сделали укол морфия в британском бараке, стоявшем посреди лагеря уничтожения для русских военнопленных. В тот январский день Билли проснулся на рассвете. В маленьком больничном бараке не было окон, а зловещие свечи потухли. Свет шел только сквозь мелкие дырочки в стенах и сквозь мутный прямоугольник неплотно прилаженной двери. Маленький Поль Лаззаро со сломанной рукой храпел на одной койке. Эдгар Дарби, школьный учитель, которого впоследствии расстреляли, храпел на другой.

Билли сел на койку. Он не знал, какой сейчас год, на какой он планете. Но как бы ни называлась планета, на ней было холодно. Однако Билли проснулся не от холода. Его била дрожь и мучил зуд от какого-то животного магнетизма. От этого болели все мускулы, как после тяжелой муштры.

Животный магнетизм исходил от чего-то за спиной Билли. Если бы Билли попросили угадать,

что там такое, он сказал бы, что там, на стенке за его спиной, огромная летучая мышь-вампир.

Билли отодвинулся в дальний угол койки, прежде чем обернуться и взглянуть, что там такое. Он боялся, что животное упадет ему на лицо и, чего доброго, выцарапает глаза или откусит его длинный нос. И он обернулся. Источник магнетизма и вправду был похож на летучую мышь. Но это было пальто покойного импресарио, с меховым воротником. Оно висело на гвоздике.

Билли осторожно пододвинулся к пальто, поглядывая на него через плечо, чувствуя, как магнетизм усиливается. Потом он обернулся и, стоя на коленях на койке, осмелился пощупать и потрогать пальто. Билли искал источник радиации.

Он нашел два небольших источника, два твердых комка, зашитых в подкладку. Один был похож на горошину. Другой по форме напоминал крошечную подковку. Через радиацию, исходившую от этих комков, Билли получил указание. Ему сказали, чтобы он не старался узнать, что это за комки. Ему посоветовали удовольствоваться сознанием, что комки могут делать для него чудеса, если он не станет допытываться, из чего они состоят. Билли охотно принял эти указания. Он

был благодарен. Он был рад.

Билли задремал и снова проснулся на койке в больничном бараке. Солнце стояло высоко. За окном слышались звуки, напоминающие о Голгофе, — сильные люди копали ямы для столбов в твердой как камень земле. Это англичане строили себе новый нужник. Они уступили старый нужник американцам вместе со своим театром — тем бараком, где устраивали праздничную встречу.

Шесть англичан прошествовали через больничный барак, неся бильярдный стол, на который были навалены тюфяки. Тюфяки переносили в помещение около больничной палаты. Сзади шел англичанин, который сам тащил свой тюфяк и нес еще мишень для стрельбы.

Это был тот, кто играл роль Золушкиной крестной — Голубой Феи, тот, кто избил маленького Поля Лаззаро. Он остановился у койки Лаззаро и спросил, как тот себя чувствует.

Лаззаро сказал, что после войны он его убьет.

— Да ну?

— Большую ошибку допустили, — сказал Лаззаро. — Кто меня тронул, уж лучше бы сразу убил, не то я его убью.

Голубая Фея знал толк в убийствах. Он сдержанно улыбнулся Лаззаро.

— Но я еще успею тебя убить, — сказал он, — если ты мне докажешь, что так будет правильнее.

— Иди ты знаешь куда!

— Напрасно думаешь, что я и там не побывал! — сказал Голубая Фея.

Голубая Фея ушел, снисходительно улыбаясь. Когда он вышел, Лаззаро пообещал Билли и бедному старому Эдгару Дарби, что он за себя отомстит, а месть сладка.

— Слаще ничего на свете нет, — сказал Лаззаро. — Пусть только кто попробует меня уесть, уж я его заставлю поплакать! Пожалеют, мать их, а я только захохочу во всю глотку! Мне плевать, юбка на нем или штаны. Меня самому президенту США не уесть, я и ему башку сверну. Вы бы посмотрели, чего я сделал с тем псом.

— С каким псом? — спросил Билли.

— Укусил меня, сукин сын. Достал я тогда кусок бифштекса, достал пружину от часов. Разрезал я эту пружину на кусочки, а кусочки заточил на концах. Острые стали, как бритвы. Засунул я их в бифштекс — в самую середину. И пошел туда, где этот пес сидел на цепи. Он опять на меня — укусить хочет. А я ему говорю: «Брось, песик, давай дружить. Зачем нам ссориться! Я на тебя не сержусь!» Он и поверил.

— Поверил?

— Да, я ему бифштекс бросил. Он его одним глотком слопал. А я постоял, подождал минут десять. — Глазки Лаззаро заморгали. — У него сразу кровь из пасти пошла. Как завоет, так по земле и покатился, будто его ножи сверху режут, а не изнутри. Кусать сам себя начал, будто все кишки хотел выкусить. А я хохочу, я ему говорю: «Правильно, правильно, песик, вырви из себя кишки. Это я там у тебя в нутре сижу, с ножичками, понял?»

Такие дела.

— Спросят вас, что самое приятное на свете, — сказал Лаззаро, — вы так и говорите: месть.

Кстати, когда Дрезден впоследствии разбомбили, Лаззаро совсем не радовался. Он сказал, что с немцами ему делить нечего. И еще сказал, что любит расправляться с каждым врагом поодиночке. И еще он гордился, что никогда не задел случайного зрителя. «Никогда Лаззаро не тронет человека, ежели тот его не обидел».

Тут вмешался бедный старый Эдгар Дарби, школьный учитель. Он спросил Лаззаро, не собирается ли он и англичанину, Голубой Фее, скормить бифштекс с пружинами?

— Дерьма, — сказал Лаззаро.

— А он роста немалого, — сказал Дарби, который и сам был немалого роста.

— Рост тут ни при чем, — сказал Лаззаро.

— Пристрелишь его, что ли?

— Его за меня пристрелят, — сказал Лаззаро. — Вернется он домой с войны. Герой будет, как же. Дамочки на него вешаться станут. Устроится, заживет. И вдруг в один прекрасный день — стучат! Открывает он дверь — а там стоит незнакомый человек. И спрашивает его: «Вы тот самый?» — «Да, — скажет, — я тот самый». А незнакомый человек ему скажет: «Меня прислал Поль Лаззаро». И вытащит револьвер, и прямо ему в пах выстрелит. И даст ему минутку подумать: кто такой Лаззаро и как теперь жить калекой. А потом добьет его одним выстрелом прямо в живот.

Такие дела.

Лаззаро сказал еще, что он на кого угодно может напустить убийцу за тысячу долларов плюс дорожные расходы. У него уже в голове целый список составлен.

Дарби спросил его, кто же там, в этом списке, и Лаззаро сказал:

— Главное, смотри, чтобы ты, гад, не попал. Ты меня не задевай, вот и все. — И, помолчав,

Лаззаро добавил: — И дружков моих не трогай.

— А у тебя есть дружки? — поинтересовался Дарби.

— Тут, на войне? — сказал Лаззаро. — Да, был у меня и на войне друг. Был, да помер.

Такие дела.

— Это плохо.

Лаззаро сверкнул глазами:

— Да. Он мне был другом в теплушке. Звали его Роланд Вири. — Тут он ткнул в Билли здоровой рукой: — А помер он из-за дурака этого, мать его. Я ему пообещал, что я и этого дурака после войны прикончу.

Лаззаро отмахнулся от Билли: никаких слов не надо.

— Забудь про это, малый, — сказал он. — Живи, радуйся, пока живешь. Ничего с тобой не случится лет пять, десять, а то и пятнадцать, двадцать. Только я тебя предупреждаю: услышишь звонок — пошли кого другого открывать.

Билли Пилигрим всегда говорит, что именно так он и умрет. Как путешественник во времени, он много раз видал свою собственную смерть и записал на магнитофоне, как это будет. По его словам, магнитофонная лента заперта вместе с его завещанием и другими ценностями в его сей-

фе, в Илиумском торгово-промышленном банке:

Я, Билли Пилигрим, умирал, умер и всегда буду умирать 13 февраля 1976 года.

В момент своей смерти, говорит Билли Пилигрим, он будет находиться в Чикаго и читать в огромной аудитории лекцию о летающих блюдцах и об истинной природе времени. Он будет по-прежнему жить в Илиуме; чтобы добраться до Чикаго, ему придется пересечь три международные границы. Соединенные Штаты к этому времени перестроятся по образцу балканских государств: их разделят на двадцать малых наций, чтобы они больше никогда не стали угрозой миру. Чикаго будет разрушен водородной бомбой рассерженных китайцев. Такие дела. Потом его отстроят заново.

Билли выступает перед полным залом на бывшей бейсбольной площадке, накрытой прозрачным куполом. Местный флаг развевается за его спиной. На зеленом поле флага красуется породистый бык. Билли предсказывает, что ровно через час он умрет. Он сам над собой смеется и подзадоривает публику — пусть смеются вместе с ним.

— Мне давным-давно пора умереть, — говорит

он. — Много лет назад, — говорит Билли, — один человек пообещал меня убить. Теперь он совсем старик, живет где-то поблизости. Он читал рекламу обо всех моих выступлениях в вашем прекрасном городе. Он сумасшедший. Сегодня он выполнит свою угрозу.

Толпа в зале шумно протестует.

Билли Пилигрим с укором говорит:

— Если вы будете протестовать, если вы считаете смерть страшной, значит, вы не поняли ни слова из того, что я вам говорил. — И Билли кончает лекцию, как он кончает все свои выступления: — Прощайте — здравствуйте, прощайте — здравствуйте!

Он сходит с трибуны, и его окружает полиция. Она охраняет его от слишком восторженных поклонников. Никто не угрожал его жизни с самого 1945 года. Полицейские предлагают сопровождать его повсюду. Они любезно готовы всю ночь стоять у его постели, держа револьверы наготове.

— Нет, нет, — безмятежно говорит Билли. — Вам пора по домам, к женам и деткам, а мне пора ненадолго умереть, а потом снова ожить.

В этот миг высокий лоб Билли уже попал в прицельное поле меж волосками мощного лазер-

ного ружья. Ружье нацелено на него из темной ложи прессы. Миг — и Билли Пилигрим мертв. Такие дела.

И Билли переживает временную смерть. Это просто фиолетовый свет и легкий звон. Больше там ничего и никого нет. Даже самого Билли Пилигрима там нет.

А потом он снова возвращается в жизнь, далеко назад, в тот час, когда Лаззаро погрозился убить его, — в 1945 год. Ему приказали встать с койки и одеться, так как он уже выздоровел. И он, и Лаззаро, и бедный старый Эдгар Дарби должны вернуться в театр к своим землякам. Там они должны выбрать себе старшего — тайным голосованием.

Билли, Лаззаро и бедный старый Эдгар Дарби прошли через двор блока к театральному бараку. Билли нес свое пальтецо, как дамскую муфту. Он обернул им руки. Он был центральной шутовской фигурой в процессии, неумышленно пародирующей знаменитую картину «Герои 76-го года».

Эдгар Дарби мысленно писал домой письма, сообщая своей жене, что он жив и здоров, и пусть она не волнуется, война почти что кончилась, и скоро он вернется домой.

Лаззаро бормотал себе под нос, как он после войны будет подсылать убийц к разным людям и каких женщин он заставит спать с ним, захотят они или нет. Если бы он был собакой и бегал по городу, полицейский пристрелил бы его и послал его голову на анализ в лабораторию проверить — бешеный он или нет. Такие дела.

Когда они подходили к театру, они увидали, как один англичанин каблуком сапога рыл канавку в земле. Он проводил границу между американской и английской секциями блока. И Билли, и Лаззаро, и Дарби могли не спрашивать, что значит эта канавка. Этот символ был им знаком с детства.

Пол театрального барака был устлан телами американцев, примостившихся друг к другу, как ложки в ящике. Большинство американцев спали или лежали в забытьи. Сухая судорога сводила их кишки.

— Закрой двери, мать твою… — сказал кто-то. — В сарае ты родился, что ли?

Билли закрыл двери, вынул руку из муфты, потрогал печку. Печка была холодная как лед. На сцене все еще стояли декорации к «Золушке». Лазоревые портьеры спускались с ярко-розовых

арок. Золотые троны стояли под макетом часов, и стрелки показывали двенадцать. Золушкины туфельки — на самом деле это были сапоги летчика, выкрашенные серебряной краской, — валялись под золотым троном.

Когда англичане раздавали тюфяки и одеяла, Билли, и бедный старый Эдгар Дарби, и Лаззаро лежали в больничном бараке, так что им ничего не досталось. Пришлось что-то придумывать. Единственным свободным местом оказалась сцена, и они забрались туда, сорвали лазоревые портьеры и устроили себе гнезда.

Свернувшись в своем лазоревом гнезде, Билли вдруг увидал серебряные Золушкины сапоги под троном. И тут он вспомнил, что его обувь разлезлась, что сапоги ему *необходимы.* Ужасно не хотелось вылезать из гнезда, но он заставил себя через силу. Он подполз на четвереньках к сапогам и примерил их.

Сапоги были в самый раз. Билли Пилигрим стал Золушкой, а Золушка стала Билли Пилигримом.

* * *

Потом главный англичанин прочел лекцию о соблюдении личной гигиены, после чего были устроены свободные выборы. Половина амери-

канцев их проспала. Англичанин поднялся на сцену, постучал по спинке трона хлыстиком:

— Господа, господа, господа, прошу внимания! — И так далее.

В лекции по гигиене англичанин сказал о том, как выжить:

— Если вы перестанете следить за своим внешним видом, вы скоро умрете. — Он еще сказал, что видел, как люди умирали: — Они перестали держаться прямо, потом перестали бриться и мыться, потом не вставали с постели, потом перестали разговаривать, а потом умерли. Конечно, можно только сказать одно в их защиту: уйти из жизни таким способом очень легко и безболезненно.

Такие дела.

Англичанин еще сказал, что, попав в плен, он дал себе такое обещание: чистить зубы дважды в день, бриться ежедневно, мыть лицо и руки перед едой и после уборной, раз в день чистить сапоги, по крайней мере полчаса делать утром зарядку, а потом идти в уборную, часто смотреться в зеркало, беспристрастно оценивая свой внешний вид, особенно манеру держаться.

Билли Пилигрим все это слушал, свернувшись

в своем гнезде. Он смотрел не на лицо англичанина, а на его сапоги.

– *Я завидую вам, господа,* — сказал англичанин.

Кто-то засмеялся. Билли не понял, что тут смешного.

— Вы, господа, сегодня же уедете в Дрезден, прекрасный город, как мне говорили. Вы не будете сидеть взаперти, как мы. Вы попадете в самую гущу жизни, да и еда там, наверно, будет вкуснее, чем тут. Разрешите мне небольшое чисто личное отступление: уже пять лет, как я не видел ни дерева, ни цветка, ни женщины, ни ребенка, не видел ни кошки, ни собаки, ни места, где развлекаются, ни человека, занятого любой полезной работой. Кстати, бомбежки вам бояться нечего. Дрезден — открытый город. Он не защищен, в нем нет военной промышленности и сколько-нибудь значительной концентрации войск противника.

Тогда же бедного старого Эдгара Дарби выбрали старшим. Англичанин просил назвать кандидатуры, но все молчали. Тогда он сам выдвинул кандидатуру Дарби и произнес хвалебную речь о его зрелости, его долгом опыте работы с людьми. Больше никаких кандидатур не было, и список кандидатов был закрыт.

— Единогласно?

Послышалось два-три голоса:

— Да-а…

И бедный старый Дарби произнес речь. Он поблагодарил англичанина за добрые советы, обещал следовать им неукоснительно. Он сказал, что и другие американцы, несомненно, присоединятся к нему. Он еще сказал, что теперь главная его задача — добиться, чтобы все они, как один, черт возьми, благополучно добрались домой.

— Попробуй уконтрапупь бублик на лету, — пробормотал Лаззаро в своем лазоревом гнезде, — а заодно и луну в небе.

Ко всеобщему удивлению, температура назавтра поднялась. Днем стояла теплынь. Немцы привезли суп и хлеб на двух каталках — их тянули русские. Англичане прислали настоящий кофе, и сахар, и апельсиновый джем, и сигареты, и сигары, а двери театра были распахнуты настежь, чтобы с улицы шло тепло.

Американцы уже чувствовали себя гораздо лучше. Их желудки хорошо переваривали еду. Вскоре настал час отправки в Дрезден. Американцы в полном параде вышли из британского блока. Билли Пилигрим снова возглавлял шествие. Теперь на нем были серебряные сапоги, и муфта, и кусок

лазоревой портьеры, в которую он завернулся, как в тогу. Билли все еще не сбрил бороду.

Не побрился и бедный старый Эдгар Дарби, который вышагивал рядом с Билли. Дарби мысленно сочинял письма домой, беззвучно шевеля губами:

Дорогая Маргарет, сегодня отправляемся в Дрезден. Не волнуйся. Бомбить его никогда не будут. Дрезден — открытый город. Сегодня днем у нас были выборы, и угадай кого…

И так далее.

Они снова подошли к лагерной узкоколейке. Приехали они в двух вагонах. Теперь они отправлялись куда комфортабельнее — в четырех. На путях они снова увидели мертвого бродягу. Его труп заледенел в кустах у рельсов. Он скорчился в позе эмбриона, пытаясь и в смерти примоститься около других, как ложка. Но других около него не было. Он умостился средь угольной пыли, в морозном воздухе. Кто-то снял с него сапоги. Его босые ноги были цвета слоновой кости с просинью. Но это было в порядке вещей, раз он умер. Такие дела.

Поездка в Дрезден была сплошным развлечением. Она продолжалась всего часа два. В

сморщенных желудках было полно пищи. Лучи солнца и мягкий ветерок проникали через отдушины. Англичане дали им с собой много курева.

Американцы прибыли в Дрезден в пять часов пополудни. Двери теплушек открылись, и перед американцами возник прекраснейший город — такого они еще не видели никогда в жизни. Он вырисовывался в небе причудливыми мягкими контурами, сказочный неправдоподобный город. Билли Пилигрим вспомнил картинку в воскресной школе — «Царствие небесное».

Кто-то сзади него сказал: «Страна Оз». Это был я. Лично я. До тех пор я видел один-единственный город — Индианаполис, штат Индиана.

Все остальные большие города в Германии были страшно разбомблены и сожжены. В Дрездене даже ни одно стекло не треснуло. Каждый день адским воем выли сирены, люди уходили в подвалы и там слушали радио. Но самолеты всегда направлялись в другие места — Лейпциг, Хемниц, Плауэн и всякие другие пункты. Такие дела.

Паровое отопление в Дрездене еще весело посвистывало. Звякали трамваи. Свет зажигался и когда щелкали выключатели. Работали рестораны и театры. Зоопарк был открыт. Город в основном производил лекарства, консервы и

сигареты.

В это время люди шли домой с работы. Они устали.

Восемь дрезденцев перешли через стальную лапшу рельсов к вагонам. На них было новое обмундирование. Только накануне они приняли присягу. Это были мальчишки, и пожилые люди, и два инвалида, жутко израненные в России. Им было предписано охранять сто американских военнопленных, назначенных на работу. В отряде были дедушка и внук. Дедушка раньше был архитектором.

Все восемь, сердито хмурясь, подошли к теплушкам, где находились их подопечные. Они знали, какой у них самих нелепый и нездоровый вид. Один из них ковылял на протезе и нес в руках не только винтовку, но и палку. Однако им предписывалось добиться полного повиновения и уважительности от высоких нахальных разбойников — американцев, убийц, только что явившихся с фронта.

И тут они увидали бородатого Билли Пилигрима в лазоревой тоге и серебряных сапогах, с руками в муфте. С виду ему было лет шестьдесят. Рядом с Билли стоял маленький Поль Лаззаро, кипя от бешенства. Рядом с Лаззаро стоял бедный

старый учитель Эдгар Дарби, весь исполненный унылого патриотизма, немолодой усталости и воображаемой мудрости. Ну и так далее.

Восемь нелепейших дрезденцев наконец удостоверились, что эти сто нелепейших существ и есть те самые американские солдаты, недавно взятые в плен на фронте. Дрезденцы стали улыбаться, а потом расхохотались. Их страх испарился. Бояться было некого. Перед ними были такие же искалеченные людишки, такие же дураки, как они сами. Это было похоже на оперетку.

И опереточное шествие вышло из ворот железнодорожной станции на улицы Дрездена. Билли Пилигрим был главной опереточной примадонной. Он возглавлял парад. Тысячи людей шли по тротуарам домой с работы. Лица у них были водяночные, распухшие, — в течение двух лет люди ели почти что одну картошку. Они шли, не ожидая никаких радостей, кроме мягкой погоды. И вдруг — такое развлечение.

Билли не замечал, что на него смотрят во все глаза, забавляясь его видом. Он был восхищен архитектурой города. Веселые амурчики обвивали гирляндами окна. Лукавые фавны и нагие нимфы глазели с разукрашенных карнизов. Каменные мартышки резвились меж свитков, раковин и

стеблей бамбука.

Уже помня будущее, Билли знал, что город будет разбит вдребезги и сожжен примерно дней через тридцать. Знал он и то, что большинство смотревших на него людей скоро погибнет. Такие дела.

И Билли на ходу стискивал руки в муфте. Кончиками пальцев он старался нащупать в теплой темноте муфты твердые комки, зашитые в подкладку пальто маленького импресарио. Пальцы пробрались за подкладку. Они ощупали комки, один походил на горошину, другой — на маленькую подкову. Тут парадное шествие остановилось. Семафор загорелся красным светом.

На углу, в первом ряду пешеходов, стоял хирург, который весь день оперировал больных. Он был в гражданском, но щеголял военной выправкой. Он участвовал в двух мировых войнах. Вид Билли чрезвычайно оскорбил его чувства, особенно когда охрана сказала ему, что Билли — американец. Хирургу казалось, что Билли — отвратительный кривляка, что он нарочно постарался вырядиться таким шутом.

Хирург говорил по-английски и сказал Билли:

— Очевидно, война вам кажется забавной шуткой?

Билли посмотрел на него с недоумением. Он совсем потерял всякое понятие о том, где он и как он сюда попал. Ему и в голову не приходило, что люди могут подумать, будто он кривляется. Конечно же, его так вырядила Судьба. Судьба и слабое желание выжить.

— Вы хотите нас *рассмешить*? — спросил хирург.

Хирурга надо было как-то ублаготворить. Билли растерялся. Билли хотел проявить дружелюбие, чем-нибудь помочь, но у него не было никаких возможностей. Он держал в руке те два предмета, которые он выудил из подкладки. Он решил показать их хирургу.

— Вы, очевидно, полагаете, что нам понравится такое *издевательство*? — сказал хирург. — Неужели вы гордитесь, что представляете Америку таким образом?

Билли вынул руку из муфты и сунул ладонь под нос хирургу. На ладони лежал бриллиант в два карата и половинка искусственной челюсти. Эта непристойная штучка была сделана из серебра с перламутром и с оранжевой пластмассой. Билли улыбался.

Шествие, хромая, спотыкаясь и сбивая шаг, подошло к воротам дрезденской бойни. Пленных

ввели во двор. Бойня уже давно не работала. Весь скот в Германии давно уже был убит, съеден и испражнен человеческими существами, по большей части в военной форме. Такие дела.

Американцев повели в пятое здание за воротами. Это был одноэтажный цементный сарай с раздвижными дверями в передней и задней стене. Он был построен для свиней, предназначенных на убой. Теперь он должен был стать жильем для сотни американских военнопленных. Там стояли койки, две пузатые печки и умывальник с краном. Сзади был пристроен нужник — дощатый заборчик, за ним ведра.

На двери здания стояла огромная цифра. Это был номер пять. Прежде чем впустить американцев внутрь, единственный охранник, говоривший по-английски, велел им запомнить простой адрес в случае, если они заблудятся в огромном городе. Их адрес был такой: «Шлахтхоф фюнф». «Шлахтхоф» — значило «бойня». «Фюнф» была попросту добрая старая пятерка.

7

Двадцать пять лет спустя Билли Пилигрим сел в Илиуме в специально заказанный самолет. Он знал, что самолет разобьется, но говорить об этом не хотел: зачем зря валять дурака? Самолет вез Билли с двадцатью восемью другими оптометристами на конференцию в Монреаль.

Жена Билли, Валенсия, осталась на аэродроме, а тесть Билли, Лайонел Мербл, сидел рядом с ним в кресле, затянув ремни.

Лайонел Мербл был машиной. Конечно, тральфамадорцы считают, что все живые существа и все растения во Вселенной — машины. Им смешно, что многие земляне так обижаются, когда их считают машинами.

На аэродроме машина по имени Валенсия Мербл Пилигрим ела шоколадку и махала на прощание платочком.

* * *

Самолет взлетел благополучно. Такова была структура данного момента. На самолете летел квартет любителей — тоже оптометристов. Они

называли себя «чэпы», что означало «четырехглазые подонки».

Когда самолет уже был в воздухе, машина — тесть Билли попросил квартет спеть его любимую песенку. Они знали, что он просит, и спели ему такие куплетики:

Снова я сижу в тюрьме,
Снова по уши в дерьме,
И болят, болят различные места.

Я кляну свою судьбу,
Ох, увидеть бы в гробу
Эту стерву, что кусалась неспроста.

И тесть Билли гоготал как сумасшедший и все просил спеть ему еще одну его любимую песенку. И квартет охотно запел, подражая акценту пенсильванских шахтеров-поляков:

Вместе в шахте, Майк и я,
Закадычные друзья,
Уголек загребай,
Раз в неделю погуляй!

Кстати о поляках: дня через три после приезда в Дрезден Билли случайно увидал, как публично вешали поляка. Билли приходил на работу вме-

сте с другими ранним утром и на футбольном поле увидал виселицу и небольшую толпу. Поляк работал на ферме, и его повесили за связь с немецкой женщиной. Такие дела.

Зная, что самолет вскоре разобьется, Билли закрыл глаза и пропутешествовал во времени обратно, в 1944 год. Снова он оказался в Люксембургском лесу с «тремя мушкетерами». Роланд Вири тряс его, стукал его головой о дерево.

— Идите без меня, ребята, — говорил Билли Пилигрим.

Квартет на самолете пел: «Жди восхода солнца, Нелли», когда самолет врезался в горную вершину Шугарбуш, в Вермонте. Погибли все, кроме Билли и второго пилота. Такие дела.

Первыми к месту катастрофы прибыли молодые австрийцы — инструкторы со знаменитой горнолыжной станции. Они переговаривались по-немецки, переходя от трупа к трупу. На них были закрытые черные шлемы-маски с прорезями для глаз и красными помпонами на макушке. Они были похожи на фантомы или на белых людей, для смеху наряженных неграми.

Билли был ранен в голову, но сознания не потерял. Он не понимал, где он. Губы у него ше-

велились, и один из фантомов приложил к ним ухо, чтобы уловить слова, которые могли стать для Билли и последними.

Билли подумал, что фантом имеет какое-то отношение ко Второй мировой войне, и шепнул ему свой адрес: *«Шлахтхоф фюнф».*

Вниз с горы Билли спускали на горных санках. Фантомы правили веревками и звонко кричали, требуя дать им дорогу. У подножия тропа заворачивала вокруг подъемника с креслицами. Билли смотрел, как вся эта молодежь, в ярких эластичных костюмах, в огромных башмаках и выпуклых защитных окулярах, словно выперших из их черепов, взлетала в желтых креслицах до неба. Ему показалось, что это какой-то новый потрясающий этап Второй мировой войны. Но Билли Пилигриму было все равно. Да и почти все на свете было ему безразлично.

Билли был помещен в небольшую частную клинику. Знаменитый нейрохирург прибыл из Бостона и три часа оперировал Билли. После операции Билли два дня лежал без сознания, и ему снились миллионы событий, из которых кое-что было правдой. Все правдивые события были путешествием во времени.

Правдивым событием был и первый вечер на территории боен. Вместе с бедным старым Эдгаром Дарби он вез пустую двухколесную тачку по тропке между загонами для скота. Они направлялись на кухню, за ужином для всех. Их охранял шестнадцатилетний немец по имени Вернер Глюк. Оси колес на тачке были смазаны жиром убитой скотины. Такие дела.

Солнце зашло, и последние отблески подсвечивали город за деревенским пустырем, у праздных боен. Город был в затемнении — вдруг начнется налет, — в Дрездене Билли не увидал самой радостной на свете картины — как после захода солнца город, мигая, зажигает один за другим все свои огоньки.

А внизу протекала широкая река, и в ней отразились бы эти огни, и они так мило подмигивали бы в темноте. Река звалась Эльба.

Молодой солдат Вернер Глюк родился в Дрездене. Он никогда не бывал на бойнях и не знал, где тут кухня. Он был высокий и слабосильный, как Билли, даже мог бы сойти за его младшего брата. Да, впрочем, они и были дальними родственниками, только никогда об этом так и не узнали. Глюк был вооружен невероятно тяжелым мушкетом, одноствольным музейным экспо-

натом с восьмигранным прикладом и стволом без нарезки. Он и штык привинтил. Штык был похож на длинную вязальную спицу. Желобков для стока крови на нем не имелось.

Глюк повел американцев к зданию, где, как он думал, помещалась кухня, и открыл раздвижные двери. Но это была вовсе не кухня. Это была раздевалка перед общим душем, вся в клубах пара. Там оказалось тридцать с лишним девочек-школьниц. Это были немки, беженки из Бреславля, где шла страшная бомбежка. Девочки тоже только что приехали в Дрезден. Дрезден был битком набит беженцами.

Девочки стояли совершенно голенькие, все было видно как на ладони. А в дверях как вкопанные остановились Глюк, и Дарби, и Билли Пилигрим — мальчишка-солдат, и бедный старый школьный учитель, и шут в лазоревой тоге и серебряных сапогах. Девочки завизжали. Они стали прикрываться руками, повернули спины и так далее и стали еще прекрасней.

Вернер Глюк никогда раньше не видал голых женщин и сразу закрыл двери. Билли тоже их никогда не видал. Только для Дарби в этом ничего нового не было.

Когда эти три дурака наконец нашли кух-

ню — раньше там готовили еду для рабочих бойни, — все уже ушли домой, кроме одной женщины, нетерпеливо дожидавшейся их. В войну она овдовела. Такие дела. На ней уже были и пальто, и шляпка. Ей давно хотелось домой, хотя там ее никто не ждал. Ее белые перчатки лежали рядышком на обитой жестью буфетной стойке.

Она приготовила для американцев два больших бидона супу. Суп грелся на притушенных газовых горелках. Приготовила она и груду черного хлеба.

Она спросила Глюка: не слишком ли он молод для армии? Он согласился: да.

Она спросила Эдгара Дарби: не слишком ли он стар для армии? Он сказал: да.

Она спросила Билли Пилигрима, что это он так вырядился? Билли сказал: не знаю. Просто стараюсь согреться.

— Все настоящие солдаты погибли, — сказала она. И это была правда. Такие дела.

Лежа без сознания в Вермонте, Билли видел еще одну правдивую картину — себя за работой, которую он вместе со всеми остальными делал целый месяц, пока город не разрушили. Они мыли окна, подметали полы, чистили нужники, упаковывали в картонные ящики банки и запе-

чатывали эти ящики на заводе, где делали сироп на патоке. Сироп содержал витамины и всякие соли. Сироп выдавали беременным женщинам.

У сиропа был вкус жидкого меда с можжевеловым дымком, и все рабочие завода тайком весь день ели этот сироп ложками. Хотя они и не были беременными, но витамины и минеральные соли им тоже были необходимы. В первый день работы Билли не ел сиропа. А другие американцы ели.

Но уже на второй день Билли тоже ел сироп ложками. Ложки были растыканы повсюду — за стенными полками, в ящиках, за радиаторами и так далее. Их прятали, услышав чьи-нибудь шаги. Есть сироп было преступлением.

На второй день Билли вытирал пыль за радиатором и нашел ложку. За его спиной стоял чан со стынущим сиропом. Видеть Билли мог только один человек — бедный старый Эдгар Дарби, который мыл окно снаружи. Ложка была большая, столовая. Билли сунул ее в чан, покрутил, покрутил, так что вышла липкая тянучка. И сунул ложку в рот.

И через миг все клеточки в его теле затрепетали от жадности, восторга и благодарности.

* * *

В окно робко постучали. Дарби стоял там и все видел. Ему тоже хотелось сиропу.

Билли сделал тянучку и для него. Он открыл окошко. Он сунул ложку в разинутый рот бедного старого Дарби. И вдруг Дарби заплакал. Билли закрыл окно и спрятал липкую ложку. Кто-то подходил.

8

За два дня до разрушения Дрездена американцев посетил чрезвычайно интересный гость. Это был Говард У. Кэмбл, американец, ставший нацистом. Этот самый Кэмбл был автором монографии о недостойном поведении американских военнопленных. Научными исследованиями в этой области он теперь больше не занимался. Он пришел на бойни вербовать американцев в немецкую воинскую часть под названием «Свободный американский корпус». Кэмбл сам изобрел этот корпус и сам собирался им командовать, а сражаться они должны были только на русском фронте.

Внешность у Кэмбла была самая заурядная, но на нем была чрезвычайно экстравагантная форма, придуманная им самим. На нем была широкополая ковбойская шляпа белого цвета и черные ковбойские сапоги со свастиками и звездами. Он был туго затянут в синий облегающий костюм с желтыми лампасами от подмышек до щиколоток. Нашивки изображали профиль Авраама Линкольна на бледно-зеленом поле.

Нарукавная повязка была ярко-красного цвета, с синей свастикой в белом круге.

И сейчас, в цементном загоне для свиней, он объяснял значение этой нарукавной повязки.

Билли Пилигрима мучила изжога, потому что весь день на работе он ложками ел паточный сироп. От изжоги на глазах выступали слезы, так что дрожащие линзы соленой влаги совершенно искажали образ Кэмбла.

— Синий цвет — это небо Америки, — объяснял Кэмбл, — белый — это цвет белой расы, которая покорила наш континент, осушила болота, вырубила леса и построила мосты и дороги. А красный цвет — это кровь американских патриотов, так щедро пролитая в минувшие годы.

Сон сморил слушателей Кэмбла. Они крепко поработали на сиропном заводе и прошли длинной дорогой по холоду к себе, на бойню. Все очень отощали, глаза у них ввалились. Кожа потрескалась, воспалилась. Воспалились и губы, горло, желудки. В паточном сиропе, который они ели ложками весь день, все-таки не хватало ни витаминов, ни минеральных солей, необходимых каждому жителю Земли.

Кэмбл стал предлагать американцам всякую еду — бифштексы с картофельным пюре с под-

ливкой, мясные пироги — все будет, как только они согласятся вступить в «Свободный американский корпус».

— А как только разобьем русских, вас репатриируют через Швейцарию.

Все молчали.

— Все равно раньше или позже вам придется драться с коммунистами, — сказал Кэмбл. — Так не лучше ли сейчас разделаться с ними сразу?

И вдруг выяснилось, что Кэмблу эти слова даром не пройдут. Бедный старый Дарби, школьный учитель, обреченный на смерть, с трудом поднялся на ноги — и тут настала лучшая минута его жизни. В нашем рассказе почти нет героев и всяких драматических ситуаций, потому что большинство персонажей этой книги — люди слабые, беспомощные перед мощными силами, которые играют человеком. Одно из самых главных последствий войны состоит в том, что люди в конце концов разочаровываются в героизме. Но в ту минуту старый Дарби стал героем.

Он стоял как боксер, оглушенный ударами. Он наклонил голову. Он выставил кулаки в ожидании сигнала к бою. Потом поднял голову и назвал Кэмбла гадюкой. Тут же поправился: гадюки, сказал он, никак не могли не родиться гадюками,

а Кэмбл, который *мог* не быть тем, чем он стал, в тысячу раз подлее гадюки, или крысы, или даже клеща, насосавшегося крови.

Кэмбл только усмехнулся.

И Дарби взволнованно заговорил об американской конституции, обеспечивающей свободу, и справедливость, и всяческие возможности, и честную игру для всех. Он сказал, что нет человека, который с радостью не отдал бы жизнь за эти идеалы.

Он говорил о братстве американского и русского народов, о том, как эти две страны изничтожат нацистскую чуму, которая грозится заразить весь мир.

И тут жалобно завыли дрезденские сирены.

Американцы вместе со своей охраной и с Кэмблом ушли в убежище — в гулкий подвал, вырубленный прямо в скале, под бойнями. Туда вела железная лесенка с железными дверями наверху и внизу.

Внизу, в подвале, на крюках еще висело несколько туш быков, овец, свиней и лошадей. Такие дела. На пустых крюках можно было бы развесить еще тысячи туш. Холод там был естественный. Никаких холодильных установок не требовалось. Горели свечи. Подвал был выбелен

и пахнул карболкой. Вдоль стен стояли скамьи. Американцы подошли к скамьям и, прежде чем сесть, смахнули осыпавшуюся известку.

Говард У. Кэмбл остался стоять, как и охрана. Он разговаривал с охранниками на превосходном немецком языке. В свое время он написал множество популярных пьес и поэм по-немецки и женился на знаменитой немецкой актрисе Хельге Норт. Она была убита в гастрольном турне — развлекала немецкие войска в Крыму. Такие дела.

В ту ночь все обошлось. Только на следующую ночь примерно сто тридцать тысяч жителей Дрездена должны были погибнуть. Такие дела. Билли дремал в подвале бойни. Он снова во всех подробностях переживал спор с дочерью, с которого мы начали этот рассказ.

«Отец, — говорила она, — что нам с тобой делать?» И так далее. «Знаешь, кого я убила бы своими руками?» — спросила она. «Кого же ты убила бы?» — спросил Билли. «Этого Килгора Траута».

Килгор Траут был и остался автором научно-фантастических романов, и, конечно, Билли не только прочитал множество книг Траута, но и стал его другом, насколько можно было стать

другом Траута, человека очень угрюмого.

Траут снимал подвал в Илиуме, милях в двух от красивого белого домика Билли. Сам Траут понятия не имел, сколько книг он написал — наверное, штук семьдесят пять. Денег ни одна из них ему не принесла. И теперь Килгор Траут кое-как перебивался, занимаясь распространением «Илиумского вестника», и ведал оравой мальчишек-газетчиков: он их и запугивал, и надувал, и подлизывался к этим ребятишкам.

Впервые Билли встретился с ним в 1964 году. Билли ехал в своем «кадиллаке» по переулку Илиума и увидал, что там не проехать из-за толпы мальчишек с велосипедами. Перед мальчишками разглагольствовал человек с окладистой бородой. Он и робел перед ними, и поругивал их, и, как видно, справлялся со своей работой великолепно. Тогда Трауту было шестьдесят два года.

Он говорил ребятам, что — тут шли нецензурные слова — нечего просиживать штаны зря, надо каждому подписчику в задницу ткнуть и воскресное приложение. Он говорил: кто за два месяца продаст больше всего этих дерьмовых приложений, тому на целую неделю дадут бесплатную путевку вместе с родителями к черту на рога, на самый Мартас-Винъярд.

И так далее.

Один из газетчиков был девчонкой. Она была в полном восторге от нецензурных эпитетов.

Безумная физиономия Траута показалась Билли ужасно знакомой — он видал ее на обложке стольких книжек… Но увидев это лицо случайно, в переулке родного города, Билли никак не мог догадаться, почему это лицо ему так знакомо. Билли подумал: а может быть, этот разглагольствующий псих встречался ему когда-то в Дрездене. Траут, несомненно, был очень похож на тех военнопленных.

Тут девчонка-газетчик подняла руку.

— Мистер Траут, — сказала она, — а если я выиграю, можно мне взять с собой сестренку?

— Черта с два, — сказал Траут. — Думаешь, деньги растут на деревьях?

Кстати, Траут написал книгу про денежное дерево. Вместо листьев на дереве росли двадцатидолларовые бумажки, вместо цветов — акции, вместо фруктов — бриллианты. Дерево привлекало людей, они убивали друг дружку, бегая вокруг ствола, и отлично удобряли землю своими трупами.

Такие дела.

Билли Пилигрим остановил машину в переулке и стал ждать конца собрания. Наконец все разошлись, но остался один мальчишка, с которым Трауту надо было договориться. Мальчишка решил бросить работу — и трудно, и времени отнимает много, и платят мало. Траут забеспокоился: если мальчишка и впрямь уйдет, придется самому разносить газеты в этом районе, пока не найдется другой мальчик.

— Ты кто такой? — спросил Траут презрительно. — Тоже мне чудо без кишок.

Кстати, так называлась одна книжка Траута — «Чудо без кишок». В ней описывался робот, у которого скверно пахло изо рта, а когда он от этого излечился, его все полюбили. Но самое замечательное в этой книге, написанной в 1932 году, было то, что в ней предсказывалось употребление сгущенного желеобразного газолина для сжигания человеческих существ.

Вещество бросали с самолетов роботы. Совесть у них отсутствовала, и они были запрограммированы так, чтобы не представлять себе, что от этого делается с людьми на земле.

Ведущий робот Траута выглядел как человек, он мог разговаривать, танцевать и так далее, даже гулять с девушками. И никто не попрекал

его тем, что он бросает сгущенный газолин на людей. Но дурной запах изо рта ему не прощали. А потом он от этого излечился, и человечество радостно приняло его в свои ряды.

Траут никак не мог уговорить мальчишку-газетчика, который хотел бросить работу. Он ему твердил про миллионеров, начавших с продажи газет, и мальчишка ответил:

— Начать-то они начали, да, наверно, через неделю бросили: больно уж вшивая работка!

И мальчишка кинул к ногам Траута сумку с газетами и с адресами своих подписчиков. Трауту надо было разнести эти газеты. Машины у него не было. У него даже велосипеда не было, и он смертельно боялся собак.

Где-то лаял огромный пес.

Траут мрачно вскинул сумку на плечо, и тут к нему подошел Билли:

— Мистер Траут?

— Да?

— Вы… вы — Килгор Траут?

— Да. — Траут решил, что Билли пришел жаловаться на плохую доставку газет. Он никогда не думал о себе как о писателе по той простой причине, что никто на свете не давал повода для этого.

— Вы… Вы — тот писатель?

— Кто?

Билли был уверен, что ошибся.

— Есть такой писатель — Килгор Траут.

— Такой писатель? — Лицо у Траута было растерянное, глупое.

— Вы никогда о нем не слыхали?

Траут покачал головой:

— Никто никогда о нем не слыхал.

Билли помог Трауту развезти газеты, объехал с ним всех подписчиков в своем «кадиллаке». Все делал Билли — находил дом, проверял адрес. Траут совершенно обалдел. Никогда в жизни он не встречал поклонника, а Билли был таким горячим его поклонником.

Траут рассказал ему, что никогда не видал своих книг в продаже, не читал рецензий, не видал рекламы.

— А ведь все эти годы я открывал окно и объяснялся миру в любви.

— Но вы, наверно, получали письма? — сказал Билли. — Сколько раз я сам хотел вам написать.

Траут поднял палец:

— Одно!

— Наверно, очень восторженное?

— Нет, очень сумасшедшее. Там говорилось,

что я должен стать Президентом земного шара.

Оказалось, что автором письма был Элиот Розуотер, приятель Билли по военному госпиталю около Лейк-Плэсида. Билли рассказал Трауту про Розуотера.

— Бог мой, а я решил, что ему лет четырнадцать, — сказал Траут.

— Нет, он взрослый, был капитаном на войне.

— А пишет как четырнадцатилетний, — сказал Килгор Траут.

Через два дня Билли пригласил Траута в гости. Он праздновал восемнадцатилетие со дня своей свадьбы. И сейчас веселье было в самом разгаре.

В столовой у Билли Траут поглощал один сандвич за другим. Дожевывая икру и сыр, он разговаривал с женой одного из оптометристов. Все гости, кроме Траута, были так или иначе связаны с оптометрией. И только он один не носил очков. Он пользовался большим успехом. Всем льстило, что среди гостей — настоящий писатель, хотя книг его никто не читал.

Траут разговаривал с Мэгги Уайт, которая бросила место помощницы зубного врача, чтобы создать домашнее гнездышко оптометристу. Она была очень хорошенькая. Последняя книга, которую она прочла, называлась «Айвенго».

Билли стоял неподалеку, слушая их разговор. Он нащупывал пакетик в кармане. Это был подарок, приготовленный им для жены, — белая атласная коробочка, в ней — кольцо с сапфиром. Кольцо стоило восемьсот долларов.

Трауту страшно льстило восхищение глупой и безграмотной Мэгги, оно опьяняло его, как марихуана. Он отвечал ей громко, весело, нахально.

— Боюсь, что я читаю куда меньше, чем надо, — сказала Мэгги.

— Все мы чего-нибудь боимся, — ответил Траут. — Я, например, боюсь рака, крыс и доберман-пинчеров.

— Мне очень неловко, что я не знаю, но все-таки скажите, какая ваша *самая* знаменитая книжка?

— Роман про похороны знаменитого французского шеф-повара, — ответил Траут.

— Как интересно!

— Его хоронили все самые знаменитые шеф-повара мира. Похороны вышли прекрасные, — сочинял Траут на ходу. — И прежде чем закрыть крышку гроба, траурный кортеж посыпал дорогого покойника укропом и перчиком. Такие дела.

— А это действительно было? — спросила Мэгги Уайт. Женщина она была глупая, но от нее шел неотразимый соблазн — делать с ней детей. Сто-

ило любому мужчине взглянуть на нее — и ему немедленно хотелось начинить ее кучей младенцев. Но пока что у нее не было ни одного ребенка. Контролировать рождаемость она умела.

— Ну, конечно, было, — уверил ее Траут. — Если бы я писал про то, чего не было, и продавал такие книжки, меня посадили бы в тюрьму. Это же *мошенничество.*

Мэгги ему поверила.

— Вот уж никак не думала, — сказала она.

— А вы подумайте!

— И с рекламой тоже так. В рекламах надо писать правду, не то будут неприятности.

— Точно. Тот же параграф закона.

— Скажите, а вы когда-нибудь опишете в книжке *нас* всех?

— Все, что со мной бывает, я описываю в книжках.

— Значит, надо быть поосторожнее, когда с вами разговариваешь.

— Совершенно верно. А кроме того, не я один вас слышу. Бог тоже слушает нас. И в Судный день он вам напомнит все, что вы говорили, и все, что вы делали. И если окажется, что слова и дела были плохие, так вам тоже будет очень плохо, потому что вы будете гореть на вечном огне. А

гореть очень больно, и конца этому нет.

Бедная Мэгги стала серого цвета. Она и *этому* поверила и просто окаменела.

Килгор Траут громко захохотал. Икринка вылетела у него изо рта и прилипла к декольте Мэгги.

Тут один из оптометристов попросил внимания. Он предложил выпить за здоровье Билли и Валенсии, в честь годовщины их свадьбы. Как и полагалось, квартет оптометристов, «чэпы», пел, пока все пили, а Билли с Валенсией, сияя, обняли друг друга. Глаза у всех заблестели. Квартет пел старую песню «Мои дружки».

«*Где вы, где вы, старые друзья,* — пелось в песне, — *за встречу с вами все отдал бы я*», — и так далее. А под конец там пелось: «*Прощайте навек, дорогие друзья, прощай навеки, подруга моя*», — и так далее.

Неожиданно Билли очень расстроился от песни, от всего. Никаких старых друзей у него никогда не было, никаких девушек в прошлом он не знал, и все равно ему стало тоскливо, когда квартет медленно и мучительно тянул аккорды — сначала нарочито унылые, кислые, потом все кислее, все тягучее, а потом сразу вместо кислоты — сладкий до удушья аккорд, и снова — несколько аккордов, кислых до оскомины.

И на душу и на тело Билли чрезвычайно сильно действовали эти изменчивые аккорды. Во рту появился вкус кислого лимонада, лицо нелепо перекосилось, словно его и на самом деле пытали на так называемой дыбе.

* * *

Вид у него был настолько нехороший, что многие это заметили и заботливо окружили его, когда квартет допел песню. Они решили, что у Билли сердечный припадок, и он подтвердил эту догадку, тяжело опустившись в кресло.

Все умолкли.

— Боже мой! — ахнула Валенсия, наклоняясь над ним. — Билли, тебе плохо?

— Нет.

— Ты ужасно выглядишь.

— Ничего, ничего, я вполне здоров. — Так оно и было, только он не мог понять, почему на него так странно подействовала песня. Много лет он считал, что понимает себя до конца. И вдруг оказалось, что где-то внутри в нем таится что-то таинственное, непонятное, и он не мог представить себе, что это такое.

Гости оставили Билли в покое, увидев, что блед-

ность у него прошла, что он улыбается. Около него осталась Валенсия, а потом подошел стоявший поблизости Килгор Траут и пристально, с любопытством посмотрел на него.

— У тебя был такой вид, как будто ты увидел привидение, — сказала Валенсия.

— Нет, — сказал Билли. Он ничего не видел, кроме лиц музыкантов, четырех обыкновенных людей с коровьими глазами, в бездумной тоске извлекающих то кислые, то сладкие звуки.

— Можно высказать предположение? — спросил Килгор Траут. — Вы заглянули в *окно времени.*

— Куда, куда? — спросила Валенсия.

— Он вдруг увидел не то будущее, не то прошлое. Верно я говорю?

— Нет, — сказал Билли Пилигрим. Он встал, сунул руку в карман, нашел футляр с кольцом. Он вынул футляр и рассеянно подал его Валенсии. Он собирался вручить ей кольцо, когда кончится пение и все будут на них смотреть. А теперь на них смотрел один Килгор Траут.

— Это мне? — сказала Валенсия.

— Да.

— Ах, Боже мой! — сказала она. И еще громче: — Ах, Боже мой! — так, что услышали все гости.

Они окружили ее, и она открыла футляр и чуть не взвизгнула, увидев кольцо с сияющим сапфиром.

— О Боже! — повторила она. И крепко поцеловала Билли. — Спасибо тебе, спасибо! Большое спасибо! — сказала она.

Все заговорили, вспомнили, сколько драгоценностей Билли подарил Валенсии за все эти годы.

— Ну, знаете, — сказала Мэгги Уайт, — у нее есть огромный бриллиант, только в кино такие и увидишь. — Она говорила о бриллианте, который Билли привез с войны.

Игрушку в виде челюсти, найденную в подкладке пальто убитого импресарио, Билли спрятал в ящик, в коробку с запонками. У Билли была изумительная коллекция запонок. Обычно родные на каждый день рождения дарили ему запонки. И сейчас на нем были подарочные запонки. Они стоили больше ста долларов. Сделаны они были из старинных римских монет. В спальне у него были запонки в виде колесиков рулетки, которые и в самом деле крутились. А в другой паре на одной запонке был настоящий термометр, а на второй — настоящий компас…

Билли обходил гостей, и вид у него был совер-

шенно нормальный. Килгор Траут шел за ним как тень — ему очень хотелось узнать, что померещилось или увиделось Билли. В своих романах Траут почти всегда писал про пертурбации во времени, про сверхчувственное восприятие и другие необычайные вещи. Траут очень верил во все это и жадно искал подтверждения.

— Вам не приходилось класть на пол большое зеркало, а потом пускать на него собаку? — спросил Траут у Билли.

— Нет.

— Собака посмотрит вниз и вдруг увидит, что под ней ничего нет. Ей покажется, что она висит в воздухе. И как отскочит назад — чуть ли не на милю!

— Неужели?

— Вот и у вас был такой вид, будто вы повисли в воздухе.

Квартет любителей снова запел. И снова их пение расстроило Билли. Его переживания были определенно связаны с видом четырех музыкантов, а вовсе не с их пением. Но от этой песни у Билли опять защемило внутри:

Хлопок десять центов,

мясо – сорок шесть,

человеку бедному
нечего есть.
Просишь солнца с неба,
а с неба хлещет дождь,
от такой погодки
и впрямь с ума сойдешь.
Выстроил хороший
новый амбар,
выкрасил славно,
да съел его пожар.
Хлопок десять центов,
а чем платить налог?
Спину сломаешь,
собьешься с ног…

Билли убежал на верхний этаж своего красивого белого дома.

Килгор Траут хотел было пойти за ним наверх, но Билли сказал: не надо. Билли пошел в ванную. Там было темно. Билли крепко запер дверь, света он не стал зажигать, но сразу понял, что он тут не один. Там сидел его сын.

— Папа? — спросил сын в темноте. Роберту, будущему «зеленому берету», было тогда семна-

дцать лет. Билли его любил, но знал его довольно плохо. Билли смутно подозревал, что и знать про Роберта особенно нечего.

Билли включил свет. Роберт сидел на унитазе, спустив пижамные штаны. Через плечо, на ленте, у него висела электрическая гитара. Он ее купил в этот день. Играть он еще не умел, впрочем, он так никогда играть и не научился. Гитара была перламутрово-розового цвета.

— Привет, сынок, — сказал Билли Пилигрим.

Билли прошел к себе в спальню, хотя ему надо было бы занимать гостей внизу. Он лег на кровать, включил «волшебные пальцы». Матрас стал вибрировать и спугнул из-под кровати собаку. Это был Спот. Славный старый Спот тогда еще был жив. Спот пошел и лег в углу.

Билли сосредоточенно думал, почему этот квартет так на него подействовал, и наконец установил, какие ассоциации с очень давним событием вызвали у него эти песни. Ему не понадобилось путешествовать во времени, чтобы восстановить пережитое. Он смутно вспомнил вот что.

Он был внизу, в холодном подвале, в ту ночь, когда разбомбили Дрезден. Наверху слышались

звуки, похожие на топот великанов. Это взрывались многотонные бомбы. Великаны топали и топали. Подвал был надежным убежищем. Только изредка с потолка осыпалась известка. Внизу не было никого, кроме американцев, четырех человек из охраны и нескольких туш. Остальные четыре охранника еще до налета разошлись по домам, в семейный уют. Сейчас их убивали вместе с их семьями.

Такие дела.

Девочки, те, кого Билли видел голенькими, тоже все были убиты в менее глубоком убежище, в другом конце боен.

Такие дела.

Один из охранников то и дело поднимался по лестнице — посмотреть, что там делалось снаружи, потом спускался и перешептывался с другими охранниками. Наверху бушевал огненный ураган. Дрезден превратился в сплошное пожарище. Пламя пожирало все живое и вообще все, что могло гореть.

До полудня следующего дня выходить из убежища было опасно. Когда американцы и их охрана вышли наружу, небо было сплошь закрыто черным дымом. Сердитое солнце казалось шляпкой гвоздя. Дрезден был похож на Луну — одни мине-

ралы. Камни раскалились. Вокруг была смерть.

Такие дела.

Охранники инстинктивно встали в ряд, глаза у них бегали. Они пытались мимикой выразить свои чувства, без слов, их губы беззвучно шевелились. Они были похожи на немой фильм про тот квартет певцов.

— Прощайте навек, дорогие друзья, — словно пели они, — прощай навеки, подруга моя, храни вас Бог…

— Расскажи мне что-нибудь, — как-то попросила Билли Монтана Уайлдбек в тральфамадорском зоопарке. Они лежали рядом в постели. Никто их не видел. Ночной полог закрывал купол. Монтана была на седьмом месяце, большая, розовая, и время от времени лениво просила Билли что-нибудь для нее сделать. Она не могла послать Билли за мороженым или за клубникой, потому что атмосфера за куполом была насыщена синильной кислотой, а самое короткое расстояние до мороженого и клубники равнялось миллионам световых лет.

Правда, она могла послать его достать что-нибудь из холодильника, украшенного веселой парочкой на велосипеде, или попросить, как

сейчас:

— Расскажи мне что-нибудь, Билли, миленький.

— Дрезден был разрушен в ночь на тринадцатое февраля 1945 года, — начал свой рассказ Билли Пилигрим. — На следующий день мы вышли из нашего убежища. — Он рассказал Монтане про четырех охранников и как они, обалдевшие, расстроенные, стали похожи на квартет музыкантов. Он рассказал ей о разрушении боен, где были снесены все ограды, сорваны крыши, выбиты окна, он рассказал ей, как везде валялось что-то, похожее на короткие бревна. Это были люди, попавшие в огненный ураган. Такие дела.

Билли рассказал ей, что случилось со зданиями, которые возвышались, словно утесы, вокруг боен. Они рухнули. Все деревянные части сгорели, и камни обрушились, сшиблись и наконец застыли живописной грядой.

— Совсем как на Луне, — сказал Билли Пилигрим.

Охрана велела американцам построиться по четыре, что они и выполнили. Их повели к хлеву для свиней, где они жили. Стены хлева были еще целы, но крышу сорвало, стекла выбило, и ничего, кроме пепла и кусков расплавленного стекла,

внутри не осталось. Все поняли, что ни пищи, ни воды там не было и что тем, кто выжил, если они хотят выжить и дальше, надо пробираться через гряду за грядой по лунной поверхности.

Так они и сделали.

Гряды и груды только издали казались ровными. Те, кому пришлось их преодолевать, увидали, что они коварны и колючи. Горячие на ощупь, часто неустойчивые, эти груды стремились рассыпаться и лечь плотнее и ниже, стоило только тронуть какой-нибудь опорный камень. Экспедиция пробиралась по лунной поверхности молча. О чем тут было говорить? Ясно было только одно: предполагалось, что все население города, без всякого исключения, должно быть уничтожено, и каждый, кто осмелился остаться в живых, портил дело. Людям оставаться на Луне не полагалось.

И американские истребители вынырнули из дыма посмотреть — не движется ли что-нибудь внизу. Они увидали Билли и его спутников. Самолет полил их из пулемета, но пули пролетели мимо. Тут самолеты увидели, что по берегу реки тоже движутся какие-то люди. Они и их полили из пулеметов. В некоторых они попали. Такие дела.

Все это было задумано, чтобы скорее кончилась

война.

Как ни странно, рассказ Билли кончался тем, что он оказался на дальней окраине города, не тронутой взрывами и пожарами. К ночи американцы со своей охраной подошли к постоялому двору, открытому для приема посетителей. Горели свечи. Внизу топились три печки. Там в ожидании гостей стояли пустые столы и стулья, а наверху были уже аккуратно постланы постели.

Хозяин постоялого двора был слепой, жена у него была зрячая, она стряпала, а две молоденькие дочки подавали на стол и убирали комнаты. Все семейство знало, что Дрезден уничтожен. Зрячие видели своими глазами, как город горел и горел, и понимали, что они очутились на краю пустыни. И все же они ждали, ждали, не придет ли кто к ним.

Но особого притока беженцев из Дрездена не было. Тикали часы, трещал огонь в печах, капали воском прозрачные свечи. И вдруг раздался стук, и вошли четыре охранника и сто американских военнопленных.

Хозяин спросил охрану, не из города ли они пришли.

— Да.

— А еще кто-нибудь придет?

И охранники сказали, что на нелегкой дороге, по которой они пришли, им не встретилась ни одна живая душа.

Слепой хозяин сказал, что американцы могут расположиться на ночь у него в сарае, накормил их супом, напоил эрзац-кофе и даже выдал понемножку пива. Потом он подошел к сараю, послушал, как американцы, шурша соломой, укладываются спать.

— Доброй ночи, американцы! — сказал он по-немецки. — Спите спокойно.

9

Билли Пилигрим потерял свою жену Валенсию так. Он лежал без сознания в вермонтском госпитале после того, как самолет разбился в горах Шугарбуш, а Валенсия, услыхав о катастрофе, выехала из Илиума в госпиталь на их «кадиллаке». Валенсия была в истерике, потому что ей откровенно сказали, что Билли может умереть, а если и выживет, то превратится в растение. Валенсия боготворила Билли. Она так рыдала и охала, правя машиной, что пропустила нужный поворот с шоссе. Она резко затормозила, и сзади в нее врезался «мерседес». Никто, слава Богу, не пострадал, потому что на тех, кто вел машину, были пристегнутые ремни. Слава Богу, слава Богу. У «мерседеса» была разбита только одна фара. Но задняя часть кузова «кадиллака» стала голубой мечтой ремонтника. Задние крылья были смяты. Разломанный багажник был разинут, как рот деревенского дурачка, который признается, что он ни в чем ни черта не понимает. Бампер задрался кверху, словно салютуя прохожим. «Голосуйте за Рейгана!» — гласила нашлепка на бампере. Зад-

нее стекло было изрезано трещинами. Система выхлопа валялась на земле.

Водитель «мерседеса» подошел к Валенсии — справиться, все ли в порядке… Она что-то залопотала в истерике — про Билли, про катастрофу, — и вдруг тронула машину и поехала, оставив всю систему выхлопа на земле.

Когда она подкатила к госпиталю, люди выскочили посмотреть, что там за шум. «Кадиллак», потерявший оба глушителя, ревел, как тяжелый бомбардировщик, приземляющийся на честном слове и на одном крыле. Валенсия выключила мотор и упала грудью на руль, и гудок стал выть без остановки. Доктор с сестрой выбежали взглянуть, что случилось. Бедная Валенсия была без сознания, отравленная выхлопными газами. Она вся стала небесно-голубого цвета.

Час спустя она скончалась. Такие дела.

Билли ничего об этом не знал. Он спал, видел сны, путешествовал во времени и так далее. Больница была так переполнена, что отдельной палаты ему не дали. С ним лежал профессор истории Гарвардского университета по имени Бертрам Коупленд Рэмфорд. Рэмфорду смотреть на Билли не приходилось, потому что вокруг Биллиной койки стояла белая полотняная ширма

на резиновых колесиках. Но Рэмфорд время от времени слышал, как Билли разговаривает сам с собой.

У Рэмфорда нога была на вытяжке. Он сломал ее, катаясь на лыжах. Было ему уже семьдесят лет, но душой и телом он был вдвое моложе. Ногу он сломал, проводя медовый месяц со своей пятой женой. Ее звали Лили. Лили было двадцать три года.

Примерно в тот час, когда умерла бедная Валенсия, Лили пришла в палату к Рэмфорду и Билли с грудой книг. Рэмфорд специально послал ее за этими книгами в Бостон. Он работал над однотомной историей Военно-воздушных сил США во Второй мировой войне. Лили принесла книги про бомбежки и воздушные бои, происходившие, когда ее еще и на свете не было.

— Идите без меня, ребята, — бредил Билли, когда в палату вошла красотка Лили. Она была о-го-го какая, когда Рэмфорд ее увидал и решил сделать своей собственностью. Из школы ее выгнали. Интеллект у нее был ниже среднего.

— Я его боюсь! — шепнула она мужу про Билли Пилигрима.

— А мне он надоел до чертиков, — басом сказал Рэмфорд. — Только и знает, что спросонья

сдаваться, поднимать руки вверх, извиняться перед всеми и просить, чтобы его не трогали. — Сам Рэмфорд был бригадный генерал в отставке, числился в резерве военно-воздушных сил и еще был профессором, автором двадцати шести книг, мультимиллионером с самого рождения и одним из лучших яхтсменов в мире. Самой популярной его книгой было исследование о сексе и усиленных занятиях спортом для мужчин старше шестидесяти пяти лет. Сейчас он процитировал Теодора Рузвельта, на которого был очень похож:

— «Я мог бы вырезать из банана человека получше».

Среди других книг Рэмфорд велел Лили достать в Бостоне копию речи президента Гарри Трумэна, в которой он объявлял всему миру, что на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Лили привезла ксерокопию, и Рэмфорд спросил ее, читала ли она эту речь.

— Нет. — Читала она очень плохо, и это была одна из причин, почему ее выставили из школы.

Рэмфорд приказал ей сесть и прочитать про себя заявление Трумэна. Он не знал, что она неважно читает. И вообще он знал про нее очень мало, главным образом она была еще одним

явным доказательством для всего света, что он — супермен.

Лили села и сделала вид, что читает трумэновское заявление, звучавшее так:

Шестнадцать часов тому назад американский самолет сбросил бомбу на Хиросиму, важную военную базу японской армии. Бомба превышала мощностью двадцать тысяч тонн Т. Н. Т., она в две тысячи раз превышала взрывную силу британской бомбы «большой шлем» — самой мощной бомбы в военной истории.

Японцы начали войну нападением на Перл-Харбор. Они получили стократное возмездие. И это еще не конец. Эта бомба вошла в наш арсенал как новое решающее средство для усиления растущей разрушительной мощи наших военных сил. Бомбы этого типа уже находятся в производстве, и еще более мощные бомбы уже в проекте.

Это атомная бомба. Для ее создания мы покорили мощные силы природы. Источник, которым питается солнечная энергия, был направлен против тех, кто развязал войну на Дальнем Востоке.

До 1939 года ученые уже признавали теоретическую возможность высвободить атомную энергию. Но практически никто этого сделать

не мог. Однако в 1942 году мы узнали, что Германия лихорадочно работает в поисках способа овладеть энергией атома и прибавить ее к той военной машине, при помощи которой немцы стремились поработить весь мир. Но они просчитались. Мы можем возблагодарить провидение за то, что немцы поздно пустили в ход «ФАУ-1» и «ФАУ-2», притом в весьма ограниченных количествах, и что они не овладели атомной бомбой.

Битва лабораторий была для всех нас сопряжена с таким же смертельным риском, как и битва в воздухе, на суше и на море, но мы победили в битве лабораторий, как победили и во всех других битвах.

Теперь мы готовы окончательно и без промедления изничтожить любую промышленность Японии, в любом их городе на поверхности земли, — говорил далее Гарри Трумэн. — *Мы разрушили их доки, их заводы, их пути сообщения. Пусть никто не заблуждается: мы полностью разрушим военную мощь Японии. И чтобы уберечь…*

Ну и так далее.

Одна из книжек, привезенных Лили для Рэмфорда, называлась «Разрушение Дрездена»,

автором был англичанин по имени Дэвид Эрвинг. Выпустило книгу американское издательство «Холт, Райнгарт и Уинстон» в 1964 году. Рэмфорду нужны были отрывки из двух предисловий, написанных его друзьями — Айрой Икером, генерал-лейтенантом Военно-воздушного флота США в отставке, и маршалом Британских военно-воздушных сил сэром Робертом Сондби, кавалером многих военных орденов и медалей.

Затрудняюсь понять англичан или американцев, рыдающих над убитыми из гражданского населения и не проливших ни слезинки над нашими доблестными воинами, погибшими в боях с жестоким врагом, — писал между прочим друг Рэмфорда генерал Икер. — *Мне думается, что неплохо было бы мистеру Эрвингу, нарисовавшему страшную картину гибели гражданского населения в Дрездене, припомнить, что «ФАУ-1» и «ФАУ-2» в это время падали на Англию, без разбора убивая граждан — мужчин, женщин, детей, для чего эти снаряды и были предназначены. Неплохо было бы ему вспомнить и о Бухенвальде, и о Ковентри.*

Предисловие Икера кончалось так:

Я глубоко сожалею, что бомбардировочная

авиация Великобритании и США при налете убила 135 тысяч жителей Дрездена, но я не забываю, кто начал войну, и еще больше сожалею, что более пяти миллионов жизней было отдано англо-американскими вооруженными силами в упорной борьбе за полное уничтожение фашизма.

Такие дела.

Среди прочих высказываний маршала военно-воздушных сил Сондби было следующее:

Никто не станет отрицать, что бомбардировка Дрездена была большой трагедией. Ни один человек, прочитавший эту книгу, не поверит, что это было необходимо с военной точки зрения. Это было страшное несчастье, какие иногда случаются в военное время, вызванное жестоким стечением обстоятельств. Санкционировавшие этот налет действовали не по злобе, не из жестокости, хотя вполне вероятно, что они были слишком далеки от суровой реальности военных действий, чтобы полностью уяснить себе чудовищную разрушительную силу воздушных бомбардировок весны 1945 года.

Защитники ядерного разоружения, очевидно, полагают, что, достигни они своей цели, война

станет пристойной и терпимой. Хорошо бы им прочесть эту книгу и подумать о судьбе Дрездена, где при воздушном налете с дозволенным оружием погибло сто тридцать пять тысяч человек. В ночь на 9 марта 1945 года при налете на Токио тяжелых американских бомбардировщиков, сбросивших зажигательные и фугасные бомбы, погибло восемьдесят три тысячи семьсот девяносто три человека. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, убила семьдесят одну тысячу триста семьдесят девять человек.

Такие дела.

— Приедете в Коди, штат Вайоминг, сразу спросите Бешеного Боба, — сказал Билли Пилигрим за полотняной ширмой.

Лили Рэмфорд передернулась и продолжала делать вид, что читает опус Гарри Трумэна.

К вечеру в госпиталь пришла дочка Билли, Барбара. Она наелась успокоительных таблеток, и глаза у нее совсем остекленели, как глаза бедного старого Эдгара Дарби перед тем, как его расстреляли в Дрездене. Доктора скормили ей эти таблетки, чтобы она продолжала функционировать, хотя мать у нее умерла, а отец разбился.

Такие дела.

С ней вошли доктор и сестра. Ее брат Роберт вылетел домой с театра военных действий во Вьетнаме.

— Папочка… — позвала она нерешительно. — Папочка…

Но Билли ушел на десять лет назад — в 1958 год. Он проверял зрение слабоумного молодого монголоида, чтобы прописать ему очки. Мать слабоумного стояла тут же, выполняя роль переводчика.

— Сколько точек вы видите? — спрашивал Билли Пилигрим.

И тут же Билли пропутешествовал во времени еще дальше: ему было шестнадцать лет, и он ждал в приемной врача. У него нарывал большой палец. Кроме него, приема ожидал еще один больной, старый-престарый человек. Старика мучили газы. Он громко пукал, потом икал.

— Извините, — сказал он Билли. И снова икнул. — О Господи! — сказал он. — Я знал, что старость скверная штука. — Он покачал головой. — Но что будет *так* скверно, я не знал.

Билли Пилигрим открыл глаза в палате вермонтской больницы, не понимая, где он находится. У постели сидел его сын, Роберт. На Роберте бы-

ла форма знаменитых «зеленых беретов». Роберт был коротко острижен, волосы — соломенная щетина. Роберт был чистенький, аккуратный. На груди красовались ордена — Пурпурное сердце, Серебряная звезда и Бронзовая звезда с двумя лучами.

И это был тот мальчик, которого выгнали из школы, который пил без просыпу в шестнадцать лет, шлялся с подозрительной бандой, был арестован за то, что однажды свалил сотни памятников на католическом кладбище. А теперь он выправился. Он отлично держался, сапоги у него были начищены до блеска, брюки отглажены, и он был начальником целой группы людей.

— Папа?

Но Билли снова закрыл глаза.

Билли не пришлось поехать на похороны жены — он еще был слишком болен. Но он был в сознании, когда его жену опускали в землю, в Илиуме. Однако даже придя в сознание, Билли почти ничего не говорил ни о смерти Валенсии, ни о возвращении Роберта с войны, вообще ни о чем, так что считалось, что он превратился во что-то вроде растения. Шел даже разговор о том, чтобы ему впоследствии сделать операцию и тем самым улучшить кровообращение в мозгу.

А на самом деле безучастность Билли была просто ширмой. За этой безучастностью скрывалась кипучая, неустанная деятельность мозга. И в этом мозгу рождались письма и лекции о летающих блюдцах, о незначительности смерти и об истинной природе времени.

Профессор Рэмфорд говорил вслух ужасные вещи про Билли в уверенности, что у Билли мозг вообще не работает.

— Почему они не дадут ему умереть спокойно? — спросил он у Лили.

— Не знаю, — сказала она.

— Ведь он уже не человек. А доктора существуют для людей. Надо бы его передать ветеринару или садовнику. Они бы знали, что с ним делать. Посмотри на него! По их медицинским понятиям, это жизнь. Но ведь жизнь прекрасна, верно?

— Не знаю, — сказала Лили.

Как-то Рэмфорд заговорил с Лили про бомбежку Дрездена, и Билли все слышал.

У Рэмфорда с Дрезденом возникли некоторые сложности. Его однотомник по истории военно-воздушных сил был задуман как сокращенный литературный пересказ двадцатисемитомной официальной истории военно-воздушных сил во Второй мировой войне. Но дело было в том, что

во всех двадцати семи томах о налете на Дрезден почти ничего не говорилось, хотя эта операция и прошла с потрясающим успехом. Но размер этого успеха в течение многих лет после войны держали в тайне — в тайне от американского народа. Разумеется, это не было тайной для немцев или для русских, занявших Дрезден после войны.

— Американцы в конце концов услыхали о Дрездене, — сказал Рэмфорд через двадцать три года после налета. — Теперь многие знают, насколько этот налет был хуже Хиросимы. Так что придется и мне упомянуть об этом в своей книге. В официальной истории военно-воздушных сил это будет впервые.

— А почему этот налет так долго держали в тайне? — спросила Лили.

— Из страха, что во многих чувствительных сердцах может возникнуть сомнение, что эта операция была такой уж блестящей победой.

И тут Билли Пилигрим заговорил вполне разумно.

— Я там был, — сказал он.

Рэмфорду было трудно отнестись к словам Билли всерьез, потому что Рэмфорд уже давно воспринимал его как нечто отталкивающее, нечеловеческое и считал, что лучше бы ему

умереть. И теперь, когда Билли вдруг заговорил совершенно отчетливо, слух Рэмфорда воспринял его слова как иностранную речь, которую не стоит изучать.

— Что он сказал? — спросил Рэмфорд.

Лили взялась за роль переводчика.

— Сказал, что он там был, — объяснила она.

— Где это там?

— Не знаю, — сказала Лили. — Где вы были? — спросила она у Билли.

— В Дрездене, — сказал Билли.

— В Дрездене, — сказала Лили Рэмфорду.

— Да он просто, как эхо, повторяет наши слова, — сказал Рэмфорд.

— Правда? — сказала Лили.

— У него эхолалия.

— Правда?

Эхолалией называется такое психическое заболевание, когда люди неукоснительно повторяют каждое слово, услышанное от здоровых людей. Но никакой эхолалией Билли не болел. Просто Рэмфорд выдумал это для самоуспокоения. По военной привычке Рэмфорд считал, что каждый неугодный ему человек, чья смерть, из практических соображений, казалась ему весьма желательной, непременно страдает какой-ни-

будь скверной болезнью.

Рэмфорд несколько часов подряд долбил всем, что у Билли эхолалия. И врачам и сестрам он повторял: у него началась эхолалия. Над Билли произвели несколько экспериментов. Врачи и сестры пытались заставить Билли отзываться эхом на их слова, но Билли не произносил ни звука.

— Сейчас не отзывается, — раздраженно говорил Рэмфорд, — а как только вы уйдете, он опять примется за свое.

Никто не соглашался с диагнозом Рэмфорда всерьез. Персонал считал его противным старикашкой, самодовольным и жестоким. Он часто говорил им, что, так или иначе, слабые люди заслуживают смерти. А медицинский персонал, конечно, исповедовал ту идею, что слабым надо помогать чем только можно и что никто умирать не должен.

* * *

Там, в госпитале, Билли пережил состояние беспомощности, подобное тому, какое испытывают на войне многие люди: он пытался убедить нарочно оглохшего и ослепшего ко всему врага, что надо непременно выслушать его, Билли, взгля-

нуть на него. Билли молчал, пока вечером не погасили свет, и после долгого молчания, когда не на что было отзываться эхом, сказал Рэмфорду:

— Я был в Дрездене, когда его разбомбили. Я был в плену.

Рэмфорд нетерпеливо крякнул.

— Честное слово, — сказал Билли Пилигрим. — Вы мне верите?

— Разве непременно надо об этом говорить сейчас? — сказал Рэмфорд. Он услышал, но не поверил.

— Об этом никогда говорить не надо, — сказал Билли. — Просто хочу, чтобы вы знали: я там был.

В тот вечер о Дрездене больше не говорили, и Билли, закрыв глаза, пропутешествовал во времени и попал в майский день через два дня после окончания Второй мировой войны в Европе. Билли с пятью другими американцами-военнопленными ехал в зеленом, похожем на гроб фургоне — они нашли фургон целехоньким, даже с парой лошадей, в дрезденском пригороде. И теперь под цоканье копыт они ехали по узким дорожкам, проложенным на лунной поверхности, среди развалин. Они ехали на бойню — искать военные трофеи. Билли вспоминал, как ранним

утром в Илиуме он еще мальчишкой слушал, как стучат копыта лошадки молочника.

Билли сидел в кузове фургона. Он откинул голову, ноздри у него раздувались. Билли был счастлив. Ему было тепло. В фургоне была еда, и вино, и коллекция марок, и чучело совы, и настольные часы, которые заводились при изменении атмосферного давления. Американцы обошли пустые дома на окраине, где их держали в плену, и набрали много всяких вещей.

Владельцы домов, напуганные слухами о приходе русских, убежали из своих домов.

Но русские не пришли даже через два дня после окончания войны… В развалинах стояла тишина. По дороге к бойням Билли увидал только одного человека. Это был старик с детской коляской. В коляске лежали чашки, кастрюльки, остов от зонтика и всякие другие вещи, подобранные по пути.

Когда фургон остановился у боен, Билли остался в нем погреться на солнышке. Остальные пошли искать трофеи. Позднее жители Тральфамадора советовали Билли сосредоточиваться на счастливых минутах жизни и забывать несчастливые и вообще, когда бег времени замирает, смотреть только на красоту. И если бы Билли мог выбирать

самую счастливую минуту в жизни, он, наверно, выбрал бы тот сладкий, залитый солнцем сон в зеленом фургоне.

Билли Пилигрим дремал во всеоружии. Впервые после военного обучения он был вооружен. Его спутники настояли, чтобы он вооружился: одному Богу известно, какая смертельная опасность кроется в трещинах лунной поверхности — бешеные псы, разжиревшие на трупах крысы, беглые маньяки, разбойники, солдаты, всегда готовые убивать, пока их самих не убьют.

За поясом у Билли торчал огромный кавалерийский пистолет — реликвия Первой мировой войны. В рукоять пистолета было вделано кольцо. Он заряжался пулями величиной с лесной орех. Билли нашел пистолет в ночном столике пустого дома. Это была одна из примет конца войны — любой человек, без исключения, которому хотелось иметь оружие, мог его раздобыть. Оружие валялось повсюду. Для Билли нашлась и сабля. Это была парадная сабля летчика. На рукояти красовался орел с широко разинутым клювом. Орел держал в когтях свастику и смотрел вниз. Кто-то вонзил саблю в телеграфный столб, где ее и увидал Билли. Он вытащил саблю из столба, проезжая мимо на фургоне.

Внезапно его сон был нарушен: он услышал голоса — женский и мужской, они жалостливо говорили что-то по-немецки. Эти люди явно над чем-то сокрушались. Прежде чем Билли открыл глаза, он подумал, что такими жалостливыми голосами, наверно, переговаривались друзья Иисуса, снимая его изуродованное тело с креста. Такие дела.

Билли открыл глаза. Пожилая чета ворковала над лошадьми. Эти люди заметили то, чего не замечали американцы — что губы у лошадей кровоточили, израненные удилами, что копыта у них были разбиты, так что каждый шаг был пыткой, что лошади обезумели от жажды. Американцы обращались с этим видом транспорта, словно он был не более чувствителен, чем шестицилиндровый «шевроле».

Оба жалельщика лошадей прошли вдоль фургона и, увидев Билли, со снисходительным упреком поглядели на него — на Билли Пилигрима, такого длинного, такого нелепого в своей лазоревой тоге и серебряных сапогах. Они его не боялись. Они ничего не боялись. Оба — и муж, и жена — были врачами, акушерами. Они принимали роды, пока не сгорели все больницы. Теперь они отдыхали у того места, где раньше был их дом.

Женщина была красивая, нежная, вся прозрачная от питания одной картошкой. На мужчине был деловой костюм, галстук и все прочее. От картошки он совсем отощал. Он был такой же длинный, как Билли, в выпуклых очках со стальной оправой. Эта пара, вечно возившаяся с новорожденными, сама свой род не продлила, хотя у них были все возможности. Интересный комментарий к вопросу о продлении рода человеческого вообще.

Они оба говорили на девяти языках. Сначала они попытались заговорить с Билли по-польски, потому что он был одет таким шутом, а несчастные поляки были невольным предметом шуток во Второй мировой войне.

Билли спросил по-английски, чего им надо, и они сразу стали бранить его по-английски за состояние лошадей. Они заставили Билли сойти с фургона и взглянуть на лошадей. Когда Билли увидал, в каком состоянии его транспорт, он расплакался. До сих пор за всю войну он ни разу не плакал.

Потом, уже став пожилым оптометристом, Билли иногда плакал втихомолку наедине с собой, но никогда не рыдал в голос.

Вот почему эпиграфом этой книги выбрано четверостишие из знаменитого рождественского гимна. Билли и видел часто много такого, над чем стоило поплакать, но плакал он очень редко и хотя бы в *этом* отношении походил на Христа из гимна:

Ревут быки, теленок мычит.
Разбудили Христа-младенца,
Но он молчит.

Билли снова пропутешествовал во времени в вермонтский госпиталь. Завтрак был съеден, посуда убрана, и профессор Рэмфорд поневоле заинтересовался Билли как человеческим существом. Рэмфорд ворчливо расспросил Билли, уверился, что Билли на самом деле был в Дрездене. Он спросил, как там было, и Билли рассказал ему про лошадей и про чету врачей, отдыхавших на Луне.

Конец у этого рассказа был такой: Билли с докторами распрягли лошадей, но лошади не тронулись с места. У них слишком болели ноги. И тут подъехали на мотоциклах русские и задержали всех, кроме лошадей.

Через два дня Билли был передан американцам, и его отправили домой на очень тихоходном

грузовом судне под названием «Лукреция А. Мотт». Лукреция А. Мотт была знаменитой американской суфражисткой. Она давно умерла. Такие дела.

— Но это *надо* было сделать, — сказал Рэмфорд: речь шла о разрушении Дрездена.

— Знаю, — сказал Билли.

— Это война.

— Знаю. Я не жалуюсь.

— Наверно, там был сущий ад.

— Да.

— Пожалейте тех, кто *вынужден* был это сделать.

— Жалею.

— Наверно, у вас там, внизу, было смешанное чувство?

— Ничего, — сказал Билли, — вообще *всё* ничего не значит, и *все* должны делать именно то, что они делают. Я узнал об этом на Тральфамадоре.

Дочь Билли Пилигрима увезла его в тот день домой, уложила в постель в его спальне, включила «волшебные пальцы». При Билли дежурила специальная сиделка. Пока что он не должен был ни работать, ни выходить из дому. Он был под наблюдением.

Но Билли тайком выскользнул из дому, когда сиделка вышла, и поехал на машине в Нью-Йорк, где надеялся выступить по телевидению. Он собирался поведать миру о том, чему он выучился на Тральфамадоре.

В Нью-Йорке Билли Пилигрим остановился в отеле «Ройалтон», на Сорок четвертой улице. Случайно ему дали номер, где обычно жил Джордж Джин Натан, редактор и критик. Согласно земному понятию о времени, Натан умер в 1958 году. Согласно же тральфамадорским понятиям, Натан по-прежнему был где-то жив и будет жив всегда.

Номер был небольшой, просто обставленный, помещался он на верхнем этаже, и через широкие балконные двери можно было выйти на балкон величиной с комнату. А за перилами балкона лежал воздушный простор над Сорок четвертой улицей. Билли перегнулся через перила и посмотрел вниз, на снующих взад и вперед людей. Они походили на дергающиеся ножницы. Они были очень смешные.

Ночь стояла прохладная, и Билли через некоторое время вернулся в комнату и закрыл за собой балконные двери. Закрывая двери, он вспомнил свой медовый месяц. В их свадебном гнездышке на Кейп-Анн тоже были и всегда будут такие же

широкие балконные двери. Билли включил телевизор, переключая программу за программой. Он искал программу, по которой ему можно было бы выступить. Но для тех программ, в которых позволяют выступать разным людям и высказывать разные мнения, время еще не подошло. Было около восьми часов, а потому по всем программам показывали только всякую чепуху и убийства.

* * *

Билли вышел из номера, спустился на медленном лифте вниз, прогулялся до Таймс-сквер, заглянул в витрину захудалой книжной лавчонки. В витрине лежали сотни книг про прелюбодейство, и содомию, и убийства, а рядом — путеводитель по Нью-Йорку и модель статуи Свободы с термометром на голове. Кроме того, в витрине, засыпанные сажей и засиженные мухами, лежали четыре романа приятеля Билли — Килгора Траута.

Между тем за спиной Билли на здании неоновыми буквами вспыхивали новости дня. В витрине отражались слова. Они рассказывали о борьбе за власть, о спорте, о злобе и смерти. Такие дела.

Билли зашел в книжную лавку.

В лавке висело объявление: несовершеннолетним вход в помещение за лавкой воспрещался. Там можно было посмотреть в глазок фильм — молодых мужчин и женщин без одежды. За минуту брали четверть доллара. Кроме того, там продавались фотографии голых людей. Их можно было унести домой. Фотографии были очень тральфамадорские, потому что на них можно было смотреть в любое время, и они не менялись. И через двадцать лет эти барышни останутся молодыми и все еще будут улыбаться, или пылать страстью, или просто лежать с дурацким видом, широко расставив ноги. Некоторые из них жевали тянучки или бананы. Так они и будут жевать их вечно. А у молодых людей все еще будет возбужденный вид, и мускулы будут выпуклыми, как пушечные ядра.

Но та часть лавки не соблазняла Билли Пилигрима. Он был в восторге, что увидал в витрине романы Килгора Траута. Их названия он прочел впервые. Он открыл одну из книг. Ничего предосудительного в этом не было. Многие покупатели хватали и листали книжки. Роман Траута назывался «Большая доска». Билли прочел несколько абзацев и понял, что когда-то, много лет назад, уже читал эту книгу в военном госпитале. Там

описывалось, как двух землян — мужчину и женщину — похитили неземные существа. Эту пару выставили в зоопарке на планете по имени Циркон-212.

У этих выдуманных героев романа на одной стене их обиталища в зоопарке висела большая доска, якобы показывающая биржевые цены и стоимость акций, а у другой стены стоял телефон и телеграфный аппарат, якобы соединенный с маклерами на Земле. Существа с планеты Циркон-212 сообщили своим пленникам, что для них на Земле вложен в акции миллион долларов, а теперь дело их, пленников, управлять этим вкладом так, чтобы, вернувшись на Землю, они стали сказочно богатыми.

Разумеется, и телефон, и большая доска, и телеграфный аппарат были бутафорией. Вся эта механика просто служила возбудителем для землян, чтобы те вытворяли всякие штуки перед зрителями зоопарка — вскакивали, метались, кричали «ура», хихикали или хмурились, рвали на себе волосы, пугались до колик или блаженствовали, как дитя на руках у матери.

Земляне отлично записывали курс акций. И это тоже было специально подстроено. Примешали сюда и религию. По телеграфу сообщили,

что президент Соединенных Штатов объявил национальную неделю молитвы. Перед этим у землян выдалась на бирже скверная неделя. Они потеряли целое состояние на оливковом масле. И они пустили в ход молитвы.

И помогло. Цены на оливковое масло сразу подскочили.

В другом романе Килгора Траута, который Билли снял с витрины, рассказывалось, как один человек изобрел машину времени, чтобы вернуться в прошлое и увидеть Христа. Машина сработала, и человек увидал Христа, когда Христу было всего двенадцать лет. Христос учился у Иосифа плотничьему делу.

Два римских воина пришли в мастерскую и принесли пергамент с чертежом приспособления, которое они просили сколотить к восходу солнца. Это был крест, на котором они собирались казнить возмутителя черни.

Христос и Иосиф сделали такой крест. Они были рады получить работу.

И возмутителя черни распяли.

Такие дела.

* * *

В книжной лавке хозяйничали пять человек, похожих, как пять близнецов, маленьких, лысых, жующих потухшие мокрые сигары. Они никогда не улыбались. У каждого из них был свой высокий табурет. Они зарабатывали тем, что держали публичный дом из целлулоида и фотобумаги. Сами они никакого возбуждения от этих экспонатов не испытывали. И Билли Пилигрим тоже. А другие испытывали. Смешная это была лавка — все про любовь да про младенцев.

Эти приказчики иногда говорили кому-нибудь — покупайте или уходите, нечего все лапать да лапать, глазеть да глазеть. Были и такие покупатели, которые глазели не на товары, а друг на дружку.

Один из приказчиков подошел к Билли и сказал, что настоящий товар в задней комнате, а книжки, которые Билли взял читать, лежат на витрине только для отвода глаз.

— Это не то, что вам надо, черт возьми, — сказал он Билли. — То, что надо, там, дальше.

И Билли прошел немного дальше, в глубь лавки, но не до той комнаты, куда пускали только взрослых. Он прошел вглубь из вежливости, по

рассеянности захватив с собой книжку Траута — ту, где рассказывалось о Христе.

Изобретатель машины времени пропутешествовал в библейские времена специально, чтобы дознаться об одной вещи: действительно ли Христос умер на кресте или его живым сняли с креста и он продолжал жить. Герой книги захватил с собой стетоскоп.

Билли пролистал книгу до того места, когда герой смешался с группой людей, снимавших Христа с креста. Путешественник во времени первым поднялся на лестницу — он был одет как тогда одевались все, и он прильнул к груди Христа, чтобы никто не увидел его стетоскоп, и стал выслушивать его.

В исхудалой груди все молчало. Сын Божий был совершенно мертв.

Такие дела.

Путешественнику во времени — его звали Лэнс Корвин — удалось измерить рост Христа, но не удалось его взвесить. Христос был ростом в пять футов и три с половиной дюйма.

К Билли подошел другой приказчик и спросил, покупает он эту книгу или нет. Билли сказал: да, пожалуйста. Билли стоял спиной к полке с дешевыми книжонками про всякие сексуальные

извращения, от Древнего Египта до наших дней, и приказчик решил, что Билли читает одну из них. Он очень удивился, увидав, что именно читает Билли.

— Фу-ты черт, да где вы ее откопали? — ну и так далее, а потом стал рассказывать другим приказчикам про психопата, который захотел купить старье с витрины. Но другие приказчики уже знали про Билли. Они тоже наблюдали за ним.

Около кассы, где Билли ожидал сдачи, стояла корзина со старыми малопристойными журнальчиками. Билли мельком взглянул на один из этих журналов и увидал вопрос на обложке: «Куда девалась Монтана Уайлдбек?»

И Билли прочел эту статью. Он-то хорошо знал, где находится Монтана. Она была далеко, на Тральфамадоре, и нянчила их младенца, но журнал, который назывался «Киски-полуночницы», уверял, что она, одетая камнем, лежит на глубине ста восьмидесяти футов в соленых водах залива Педро.

Такие дела.

Билли разбирал смех. Журнал, который печатался для возбуждения одиноких мужчин, поместил эту статью специально для того, чтобы можно было опубликовать кадры из игривых

фильмов, в которых Монтана снималась еще девчонкой. Билли не стал смотреть на эти картинки. Грубая фактура — сажа и мел. Фото могло изображать кого угодно.

Приказчики снова предложили Билли пройти в заднюю комнату, и на этот раз он согласился. Занюханный морячок отшатнулся от глазка, за которым все еще шел фильм. Билли заглянул в глазок — а там одна, в постели, лежала Монтана Уайлдбек и чистила банан. Щелкнул выключатель. Билли не хотелось смотреть, что будет дальше, а тут еще к нему пристал приказчик, уговаривая его взглянуть на самые что ни на есть секретные картинки — их особо прятали для любителей и знатоков.

Билли заинтересовался, что они могли там прятать такое уж особенное. Приказчик захихикал и показал ему картинку. Это была старинная фотография — женщина с шотландским пони. Они пытались заниматься любовью меж двух дорических колонн, на фоне бархатных драпировок, обшитых помпончиками.

В тот вечер Билли не попал на телевидение в Нью-Йорке, но ему удалось выступить по радио. Совсем рядом с отелем, где остановился Билли, была радиостудия. Билли увидал табличку на

дверях и решил войти. Он поднялся в студию на скоростном лифте, а там, у входа, уже ждали какие-то люди. Это были литературные критики, и они решили, что Билли тоже критик. Они пришли участвовать в дискуссии — жив роман или же он умер. Такие дела.

Вместе с другими Билли уселся за стол мореного дуба, и перед ним поставили отдельный микрофон. Ведущий программы спросил, как его фамилия и от какой он газеты. Билли сказал: от «Илиумского вестника».

Он был взволнован и счастлив. «Попадете в город Коди, спросите там Бешеного Боба!» — сказал он себе.

В самом начале программы Билли поднял руку, но ему пока что не дали слова. Выступали другие. Один критик сказал, что сейчас, когда один виргинец, через сто лет после битвы при Аппоматоксе, снова написал «Хижину дяди Тома», пришло самое время похоронить роман. Другой сказал, что теперешний читатель уже не умеет читать как следует, так, чтобы у него в голове из печатных строчек складывались волнующие картины, и потому писателям приходится поступать, как Норман Мейлер, то есть публично делать то, что он описывает. Ведущий спросил участников

беседы, какова, по их мнению, задача романа в современном обществе, и один критик сказал: «Дать цветовые пятна на чисто выбеленных стенах комнат». Другой сказал: «Художественно описывать взрыв». Третий сказал: «Научить жен мелких чиновников, как следовать моде и как вести себя во французских ресторанах».

Потом дали слово Билли. И тут он своим хорошо поставленным голосом рассказал и про летающие блюдца, и про Монтану — словом, про все.

Его деликатно вывели из студии во время перерыва, когда шла реклама. Он вернулся в свой номер, опустил четверть доллара в электрические «волшебные пальцы», подключенные к его кровати, и уснул. И пропутешествовал во времени на Тральфамадор.

— Опять летал во времени? — спросила его Монтана. У них под куполом стоял искусственный вечер. Монтана кормила грудью их младенца.

— М-мм? — спросил Билли.

— Ты опять летал во времени. По тебе сразу всегда видно.

— Угу.

— А куда ты теперь летал? Только не на войну. Это тоже сразу видно.

— В Нью-Йорк.

— А-а, Большое Яблоко!

— А?

— Так когда-то называли Нью-Йорк.

— Ммм-мм…

— Видел там какие-нибудь пьесы или фильмы?

— Нет. Походил по Таймс-сквер, купил книжку Килгора Траута.

— Тоже мне счастливчик! — Монтана никак не разделяла его восхищения Килгором Траутом.

Билли мимоходом сказал, что видел кусочек скабрезного фильма, где она снималась. Она ответила тоже мимоходом. Ответ был тральфамадорский — никакой вины она не чувствовала.

— Ну и что? — сказала она. — А я слыхала, каким шутом ты был на войне. И еще слыхала, как расстреляли школьного учителя. Тоже сплошное неприличие — такой расстрел. — Она приложила младенца к другой груди, потому что *структура* этого мгновения была такова, что она *должна* была так сделать.

Наступила тишина.

— Опять они возятся с часами, — сказала Монтана, вставая, чтобы уложить ребенка в колыбель. Она хотела сказать, что сторожа зоопарка пускают часы под куполом то быстрее, то медленнее, то

снова быстрее и смотрят в глазок, как себя поведет маленькая семья землян. На шее у Монтаны висела серебряная цепочка. С цепочки на грудь спускался медальон, в нем была фотография ее матери-алкоголички — грубая фактура: сажа и мел. Фото могло изображать кого угодно. Сверху на медальоне были выгравированы слова:

10

Роберт Кеннеди, чья дача стоит в восьми милях от дома, где я живу круглый год, был ранен два дня назад. Вчера вечером он умер. Такие дела.

Мартина Лютера Кинга застрелили месяц назад. Он тоже умер. Такие дела.

И ежедневно правительство США дает мне отчет, сколько трупов создано при помощи военной науки во Вьетнаме. Такие дела.

Мой отец умер несколько лет назад естественной смертью. Такие дела. Он был чудесный человек. И помешан на оружии. Он оставил мне свои ружья. Они ржавеют.



* * *

На Тральфамадоре, говорит Билли Пилигрим, не очень интересуются Христом. Из земных образов тральфамадорцев больше всего привлекает Чарльз Дарвин, который учил, что тот, кто умирает, должен умирать, что трупы идут на пользу. Такие дела.

Та же мысль лежит в основе романа «Большая доска» Килгора Траута. Существа с летающих блюдец, похитившие героя книги, расспрашивают его о Дарвине. Они также расспрашивают его о гольфе.

Если то, что Билли узнал от тральфамадорцев, — истинная правда, то есть что все мы будем жить вечно, какими бы мертвыми мы иногда ни казались, меня это не очень-то радует. И все же, если мне суждено провести вечность, переходя от одного момента к другому, я благодарен судьбе, что хороших минут было так много.

В последнее время одним из самых приятных событий была моя поездка в Дрезден с О'Хэйром, старым приятелем еще с войны.

В Берлине мы сели на самолет венгерской авиакомпании. У пилота были усы в стрелку. Он был похож на Адольфа Менжу. Пока заправляли самолет, он курил гаванскую сигару. Когда мы взлетали, никто не попросил нас пристегнуть ремни.

Когда мы поднялись в воздух, молодой стюард подал нам ржаной хлеб, салями, масло, сыр и белое вино. Раскладной столик на моем месте никак не открывался. Стюард пошел в служебное отделение за отверткой и вернулся с консервным

ножом. Этим ножом он открыл столик.

Кроме нас, было еще шесть пассажиров. Они говорили на многих языках. Им было очень весело. Под нами лежала Восточная Германия, там было светло. Я представил себе, как на эти огни, на эти села, города и жилища бросают бомбы.

Ни я, ни О'Хэйр никогда не думали разбогатеть — и, однако, мы стали очень состоятельными.

— Попадете в город Коди, в Вайоминге, — лениво сказал я ему, — спросите Бешеного Боба.

У О'Хэйра с собой был маленький блокнот, и там в конце были даны цены почтовых отправлений, длина авиалиний, высота знаменитых гор и другие ценные сведения о нашем мире. Он искал данные о численности населения в Дрездене, но в блокноте этого не было, зато он там нашел и дал мне прочесть вот что:

В среднем на свете ежедневно рождается триста двадцать четыре тысячи младенцев. В то же время около десяти тысяч человек ежедневно умирают от голода или недоедания. Такие дела. Кроме того, сто двадцать три тысячи умирают от разных других причин. Такие дела. В результате чистый прирост населения во всем

мире ежедневно равняется ста девяноста одной тысяче человек. Бюро учета народонаселения предсказывает, что до двухтысячного года население Земли увеличится вдвое и дойдет до семи миллиардов человек.

— И наверно, все они захотят жить достойно, — сказал я.

— Наверно, — сказал О'Хэйр.

Тем временем Билли Пилигрим снова пропутешествовал в Дрезден, но не в настоящее время. Он вернулся в 1945 год, в третий день после разрушения Дрездена. Билли вместе со всеми остальными вели к развалинам под караулом. И я был там. И О'Хэйр там был. Двое суток мы провели в сарае на постоялом дворе у слепого хозяина. Там нас нашло начальство. Нам дали задание. Велено было собрать вилы, лопаты, ломы и тачки у соседей. С этим нехитрым оборудованием мы должны были отправиться в определенное место, в развалины, и там приступить к работе.

На главных магистралях, ведущих в город, стояли заграждения. Немецкому населению запрещалось идти дальше. Им не разрешалось производить раскопки на Луне.

А военнопленных из многих стран собрали в

то утро в определенном месте, в Дрездене. Было решено отсюда начать раскопки. И раскопки начались.

Билли оказался в паре с другим копачом — маори, взятым в плен при Тобруке. Маори был шоколадного цвета. На лбу и щеках у него были вытатуированы спиральные узоры. Билли и маори раскапывали бездушный и косный щебень Луны. Все осыпалось, то и дело происходили мелкие обвалы.

Копали сразу во многих местах. Никто не знал, что там окажется. Часто они ни до чего не докапывались — упирались в мостовую или в огромные глыбы, которые нельзя было сдвинуть. Никакой техники не было. Даже лошади, мулы или быки не могли пройти по лунной поверхности.

Потом Билли с маори и с теми, кто помогал им копать яму, наткнулись на дощатый настил, подпертый камнями, вклинившимися друг в друга так, что образовался купол. Они сделали дырку в настиле. Под ним было темно и пусто.

Немецкий солдат с фонарем спустился в темноту и долго не выходил. Когда он наконец вернулся, он сказал старшему, стоявшему у края ямы, что там, внизу, десятки трупов. Они сидели на скамьях. Повреждений видно не было.

Такие дела.

Старший сказал, что надо расширить проход в настиле и спустить вниз лестницу, чтобы можно было вынести тела. Так была заложена первая шахта по добыче трупов в Дрездене.

Постепенно такие шахты стали насчитывать сотнями. Сначала трупы не пахли, и шахты походили на музеи восковых фигур. Но потом трупы стали загнивать, расползаться, и вонь походила на запах роз и горчичного газа.

Маори, с которым работал Билли, надорвался и умер. После того как он по приказу спустился работать в этот смрад, его так выворачивало, что он надорвал себе кишки.

Такие дела.

Пришлось ввести новую технику. Трупы больше не стали подымать на поверхность, солдаты сжигали их огнеметами на месте. Стоя над убежищами, солдаты просто пускали туда струю огня.

Где-то поблизости бедного старого учителя Эдгара Дарби поймали с чайником, который он вынес из катакомб. Его арестовали за мародерство. Его судили и расстреляли.

Такие дела.

А где-то была весна. Добыча трупов прекра-

тилась. Солдаты ушли на русский фронт. В окрестностях женщины и дети рыли окопы. Билли и всех его дружков держали взаперти в сарае, на окраине. Однажды утром они проснулись и увидели, что двери не заперты. Вторая мировая война в Европе закончилась.

Билли со всеми вместе вышел на тенистую улочку. Деревья распускались. Ни пешеходов, ни транспорта вокруг не было. Только один пустой фургон, запряженный парой лошадей, проезжал мимо. Фургон был зеленый и похож на гроб.

Разговаривали птицы.

Одна птичка спросила Билли Пилигрима:

«Пьюти-фьют?»